

так, — рассуждает знаменитый химик, — из 100 миллионов только 10 живут у нас по городам, и эти потребляют не бог весть что. Остальные 90 миллионов довольствуются своими домашними продуктами, и все их стремления составляют хлеб, изба, топливо, подати — ничего им заводского и фабричного не надо. Тут ошибка и заднее число. Было так когда-то, еще недавно; но теперь уже не так, и скоро всем станет ясно, что так — оставаться не может... Россия пришла уже в состояние, из которого исход в правильную сторону цивилизации только один и есть, а именно в развитии фабрично-заводской промышленности»*.

Но если это так, то и в политическом смысле «правильный исход в сторону цивилизации» у нас только один и есть: он заключается в сплочении и организации рабочего класса в политическую партию.

С. КАРОНИН

I

Прошло уже около десяти — если не десять — лет** с тех пор, как произведения Каронина стали появляться в лучших наших журналах¹. Его имя хорошо известно читающей публике. Но говорят о нем мало как в публике, так и в литературе. Его читают, но редко перечитывают.

Это плохой признак.

Это показывает, что г. Каронин по той или другой причине не умел затронуть за живое своих читателей.

Но при этом нужно заметить, что в той сравнительно немногочисленной публике, которая не забывает об его рассказах тотчас по их прочтении, существуют самые различные взгляды на его дарование. Одни признают в нем талант, и даже талант недюжинный. Другие утверждают, что у него есть только слабое подобие таланта, дальнейшему развитию которого мешает будто бы ложная, искусственная манера автора. Это уже хороший признак. Он наводит на мысль о том, что г. Каронин обладает по крайней мере некоторою оригинальностью. Люди, лишенные оригинальности, обыкновенно угождают всем безразлично или всеми безразлично осуждаются.

* «Письма о заводах». — «Новь», 1885 г., № 10, стр. 246; № 21, стр. 34—35⁴².

** Писано в конце 1889 года.

Посмотрим же, не обманывает ли нас этот признак и точно ли г. Каронин может назваться оригинальным писателем.

Г. Каронин принадлежит к народническому лагерю нашей литературы. В его очерках и рассказах главное место отводится крестьянской жизни. Он смотрит на эту жизнь с народнической точки зрения и готов при случае восторгаться «стройностью» крестьянского мирозерцания. Он и восторгается ею в некоторых своих произведениях. Но такие произведения стоят одиноко.

В огромнейшем большинстве случаев г. Каронин описывает нечто совсем противоположное «стройности» названного мирозерцания, а именно ту путаницу, тот хаос, которые вносятся в него новыми условиями деревенской жизни.

«Воздух, небо и земля остались в деревне те же, какими были сотни лет назад,— говорит он в своем рассказе «Деревенские нервы»².— И так же росла на улице трава, по огородам полынью, по полям хлеба, какие только производила деревня, проливая пот на землю. Время ничего не изменило в природе, окружающей с испокон веков деревню. Все по-старому. Только люди, видимо, уже не те: изменились их отношения друг к другу и к окружающим — воздуху, солнцу, земле. Не проходило месяца, чтоб жители не были взволнованы какой-нибудь переменной или каким-нибудь событием, совершенно идущим вразрез со всем тем, что помнили древнейшие старики в деревне».

«Не бывало этого», «старики не помнят!» — говорили чуть ли не ежемесячно про такое происшествие. Да и нельзя помнить «того, чего на самом деле никогда не было». Это появление в деревне «того, чего никогда не было», как в зеркале отражается в очерках и рассказах г. Каронина. Они представляют собой настоящую летопись исторического процесса перерождения русского крестьянства. Огромное значение этого процесса понятно само собою. От него зависит весь дальнейший ход нашего общественного развития, потому что под его влиянием изменяются все основы нашего общественного здания, все частичное строение нашего общественного тела.

Оригинальность г. Каронина в том и заключается, что он, несмотря на все свои народнические пристрастия и предрассудки, взялся за изображение именно тех сторон нашей народной жизни, от столкновения с которыми разлетятся и уже разлетаются в прах все «идеалы» народников. Он должен был обладать сильно развитым художественным инстинктом, должен был очень внимательно прислушиваться к требованиям

художественной правды, для того чтобы, не смущаясь собственной непоследовательностью, опровергать в качестве беллетриста все то, что сам же он, наверное, горячо защищал бы на почве публицистики. Если бы г. Каронин менее заботился о художественной правде, то он давно уже мог бы позвать, конечно, очень дешевые, но зато очень многочисленные лавры, предаваясь каким-нибудь кисло-сладким изображениям исконных, вековых добродетелей крестьян-общинников. От этого много потеряло бы достоинство его сочинений, но на некоторое время много выиграла бы его литературная репутация.

Читатели-народники обратили бы на него благосклонное внимание. О нем стали бы говорить, его стали бы разбирать в печати, на него стали бы ссылаться... Известно, что читатель-народник не любит «искусства для искусства». На литературу, как и на жизнь, он смотрит с точки зрения знаменитых «устоев», которые он считает несокрушимыми и непреодолимыми. Берясь за книгу, он прежде всего требует, чтобы она изобразила ему церемониальное шествие «устоев». Если он не находит в ней искомого, он оставляет ее без внимания. Газетные известия, статистические данные, доводы экономистов и указания историков принимаются им к сведению лишь в той мере, в какой они подтверждают излюбленное учение. Нигде, за исключением Германии, не читают Маркса больше, чем в России. А между тем в России его хуже всего понимают.

Отчего это происходит?

Оттого, что и Маркса мы ценим лишь с точки зрения «устоев», а так как ценить его с этой точки зрения — значит ничего в нем не видеть, то результат понятен. Совершенно так же относится читатель-народник и к беллетристике, по крайней мере к той, которая изображает народную жизнь. Он твердо убежден, что такая беллетристика должна дать ему лишний случай поблагодарить историю за счастливую самобытность русского народа.

Сочинения же, не оправдывающие такого доверия, оставляются им без внимания. Этим в значительной степени объясняется равнодушие наших народников к произведениям г. Каронина. Правда, сочинения других беллетристов-народников также не всегда подходят под указанную мерку.

В них также рисуется довольно яркая картина разложения «устоев». Но все дело в степени. Не подлежит сомнению, что никто не заходил в этом отношении так далеко, никто не возвращался к этому предмету так настойчиво и так часто, как г. Каронин. А это много значит в глазах демократической

«интеллигенции», из которой состоит главный контингент читателей народнической беллетристики.

Мы помним, как вознегодовали на Гл. Успенского народники во второй половине семидесятых годов, когда его очерки деревенской жизни пошли было слишком вразрез с общим народническим настроением³. Литературная репутация Гл. И. Успенского к тому времени совершенно установилась, игнорировать его огромный талант не было никакой возможности. Но мы все-таки уверены, что если бы не поправила дела знаменитая «власть земли»⁴, то произведения Гл. И. Успенского читались бы теперь далеко не с тем интересом, с каким они читаются. Притом же Успенский, подобно большинству своих товарищей по перу и по направлению, настолько же публицист, насколько и беллетрист. Он не только изображает, — он и рассуждает по поводу изображаемого, и своими публицистическими рассуждениями он заглаживает впечатление, производимое его беллетристическими изображениями.

Г. Каронин не имеет этой привычки. Он предоставляет рассуждать самим читателям. В его сочинениях публицист не спешит на помощь беллетристу и поучительной надписью не возбуждает внимания зрителей к картине, содержание которой оставляет их безучастными.

Г. Каронина мог бы выручить только огромный талант. Огромный талант заставляет внимать себе даже и в тех случаях, когда идет наперекор всем установившимся привычкам и всем самым дорогим взглядам публики. Но такого таланта у г. Каронина нет. Объем его дарования невелик. Его, наверное, не хватило бы на *большое, законченное* произведение. Дальше повести г. Каронин не пойдет, даже с повестью он не всегда справляется, в особенности когда дает в ней ход своим народническим пристрастиям, как он сделал в повести «Мой мир». Его область — небольшие очерки и рассказы, и притом очерки и рассказы из народного быта. Произведения, не затрагивающие этого быта, — каковы, например: «Бебэ», «Грязев», «Бабочкин», — недурны, а некоторые даже положительно хороши, но и только. В них нет ничего оригинального. Наоборот, большинство его рассказов из *народной* жизни отличается, как мы уже сказали, именно оригинальностью. Вообще в этой области у г. Каронина есть все, что нужно, для того чтобы занять весьма почетное место в современной русской беллетристике. Серьезная критика всегда отдаст должное г. Каронину: у него есть ум, наблюдательность, здоровый, увесистый юмор, теплое, сердечное отношение к изображаемой среде и замечательное умение хорошо обрисовать ее наи-

более выдающиеся стороны. Правда, нам приходилось иногда слышать обвинения г. Каронина в том, что сделанные им изображения будто бы совсем не верны действительности. В особенности много нападали на г. Каронина за его повесть «Снизу вверх»⁵.

Многие читатели до сих пор пресерьезно убеждены, что такие рабочие, как Фомич или Михайло Лунин (действующие лица названной повести), представляют собою не более как продукт необузданной и тенденциозной фантазии автора. Существование подобных рабочих в современной нашей действительной жизни кажется таким читателям совершенно невозможным. Прислушиваясь к их нападкам, человек, незнакомый с бытом наших заводских рабочих крупных городских центров, мог бы, пожалуй, подумать, что в лице г. Каронина народническая беллетристика входит в новый, так сказать романтический, период своего развития и что названный автор с такою же бесцеремонностью превращает русских рабочих в парижских *ouvriers**, с какою Марлинский превращал когда-то наших офицеров в героев мелодрамы. Но если вы спросите, на чем же, собственно, основываются эти обвинения, то не получите и тени удовлетворительного ответа. Тогда, наверное, окажется, что обвинители совсем не знают среды, о которой идет речь в повести «Снизу вверх», и уже по одному этому не могут быть компетентными критиками этой повести. «Не бывало этого!», «старики не помнят!» — вот к чему в сущности сводятся все доводы обвинителей. Эти добрые люди и не подозревают, что авторитетные в их глазах «старики» вообще очень много «не помнят», так как закрывавшая их глаза повязка предвзятых мнений мешала им видеть окружающую их действительность.

Просим заметить, что мы вовсе не намерены выдавать очерки и рассказы г. Каронина за образцовые художественные произведения. До этого им далеко, как, впрочем, далеко произведениям всех наших беллетристов-народников. Во всех произведениях этого направления эстетическая критика может указать множество недостатков.

Все они немножко угловаты, немножко неприбраны, немножко растрепаны, немножко непричесаны. Этих общих недостатков совсем не чужды и рассказы г. Каронина.

Укажем хоть на язык.

По словам нашего автора, один из героев (именно Фомич «загибал» иногда в разговоре такую «корягу», что после и

* рабочих (фр.). — Ред.

самому стыдно становилось. Совершенно такие же «коряги» случается погибать и г. Каронину, и если сам он мало смущается такими случаями, то они тем не менее вполне способны привести в конфузию иную приятную во всех отношениях читательницу. На этот счет нечего греха таить: язык у г. Каронина самый разночинский. И со всем тем, посмотрите, как много местами выразительности в этом грубоватом разночинском языке, в котором образность соединяется с совершенно непринужденным лаконизмом. Временами одно выражение, один глагол — например, «поползла жизнь» или: «тогда он даже очень удачно колотился» — заменяет целую характеристику. Неужели это не достоинство? И неужели ввиду такого достоинства нельзя забыть о «корягах»?

Наконец, повторяем, главное достоинство очерков и рассказов у Каронина заключается в том, что в них отразился важнейший из наших современных общественных процессов: разложение старых деревенских порядков, исчезновение крестьянской непосредственности, выход народа из детского периода его развития, появление у него новых чувств, новых взглядов на вещи и новых умственных потребностей. Дюжинный поставщик беллетристических изделий никогда не напал бы на столь глубокую и благодарную тему.

II

Если читатель желает поближе ознакомиться с указанным процессом, то мы приглашаем его припомнить вместе с нами содержание некоторых из произведений г. Каронина. Так как время появления их в печати не имеет для нас никакого значения, то мы можем не стесняться хронологией.

Начнем с рассказа «Последний приход Демы».

Деревенский сход. Все присутствующие на нем обыватели села Парашкина находятся в страшном волнении. Они спорят, кричат, ругаются.

Вслушиваясь в их сбивчивые, бессвязные речи, нельзя даже и представить себе, что взгляды этих людей могли когда-то поражать господ народников своей «стройностью».

Впрочем, дело объясняется очень просто. Парашкинцы растерялись. В их деревне все чаще и чаще начинают происходить странные вещи. Нежданно-негаданно то один, то другой общинник, являясь на сходку, решительно заявляет, что не хочет больше заниматься земледелием и просит снять с него «души».

Его стыдят, бранят, увещевают, но он упрямо стоит на своем, и парашкинцам в конце концов приходится сдаться. Уже много было подобных случаев в деревне Парашкине. «Петр Беспалов — раз? Потапов — два? Клим Дальний — три? — вычитывают парашкинцы. — Кто еще? А Кирюшка-то Савин... четыре? Семен Белый... это который? пять! Семен Черный — шесть... их не перечесть... Ах вы, голоштанники... Кочевые народы!» Как тут не волноваться парашкинцам? Вопрос о кочевых народах принимает в их глазах вид совершенно неразрешимой финансовой задачи. «Я хозяйство брошу, другой бросит, третий, — гремят деревенские ораторы, — бежим все, ищи нас, свищи, кто ж останется-то?.. Кто будет платить, ежели мы все в бега? а? кто?!» В тот день, о котором идет речь в рассказе, этим роковым вопросом старались привести в рассудок крестьянина Дему, решившего перейти в «кочевое» состояние. Как ни смирен был Дема, но и он остался непоколебим, подобно своим предшественникам. Парашкинцам волей-неволей пришлось еще раз уступить и помириться с мыслью о том, что в его лице община теряет еще одного члена.

С тяжелым сердцем разошлись они по домам.

«Бывали ли прежде подобные случаи? Слыхано ли было когда-нибудь, чтобы парашкинцы только и думали, как бы наплевать друг на друга и разбежаться в разные стороны?» — спрашивает автор. Не бывало этого, и парашкинцы об этом не слыхали, отвечает он.

«Прежде их гнали с насиженного места, а они возвращались назад; их столкнут, а глядишь — они опять лезут в то место, откуда их вытурили!»

Прошло это время. Нынче парашкинец бежит, не думая возвращаться; он рад, что выбрался подобру-поздорову. Он часто уходит затем, чтобы только уйти, провалиться. Ему тошно оставаться дома, в деревне; ему нужен какой-нибудь выход, хоть вроде проруби, какую делают зимой для ловли задыхающей рыбы». В немногих словах рассказанная автором история Демы прекрасно показывает, каким образом возникает, зреет и, наконец, становится непреодолимым это стремление земледельца уйти из-под «власти земли», на которой сотни лет жили его предки, даже не помышляя о том, что для людей их звания возможен какой-нибудь другой род жизни. Было время, когда Дема безотлучно жил в деревне и вообще употреблял все усилия для того, чтобы оставаться «настоящим» крестьянином. Но эти усилия были напрасны.

Экономическое положение парашкинцев было вообще очень шатко.

При отмене крепостного права, или, лучше сказать, в эпоху замены крепостной зависимости по отношению к помещикам таковою же зависимостью по отношению к государству, им отрезали в надел «болотца». Таким образом, в применении к парашкинцам, речь могла бы уже идти не о «власти земли», — о которой идет речь у Гл. И. Успенского, — а разве лишь о власти «болотцев», с которой неразрывно была связана власть полицейского начальства.

Власть «болотцев» не может быть прочной. Вдобавок, награжденные болотцами парашкинцы обременены были ни с чем не сообразными податными тяготами.

При таком положении дел достаточно было нескольких неурожайных годов, падежа скота или чего-нибудь подобного, чтобы окончательно выбить их из равновесия.

Разумеется, подобного рода напасти — по-видимому, случайные, но в сущности вызываемые хозяйственной несостоятельностью крестьян — не заставили себя долго ждать в Парашкине. Тогда парашкинцы стали покидать деревню. «Бежали и кучками и в одиночку». Вместе с другими бежал и Дема. Иногда он возвращался домой, но нужда тотчас же снова гнала его вон, на заработки. Вообще связь его с деревней стала, как выражается автор, двусмысленной. «Первое время после ухода из деревни Дема употребил на то, чтобы наесться. Он был прожорлив, потому что очень отощал у себя дома. Те же деньги, которые оставались у него от расходов на прокормление, он пропивал...»

«Дема сперва очень доволен был жизнью, которую он вел. Он вздохнул свободнее. Удивительна, конечно, свобода, состоящая в возможности переходить с места на место по годовому паспорту, но по крайней мере ему незачем было ныть с утра до ночи, как это он делал в деревне. Пища его тоже улучшилась, то есть он был уверен, что и завтра будет есть, тогда как дома он не мог предсказать этого». Тем не менее временами на него нападала невыносимая тоска по деревне. У него являлось страстное желание побывать там. «Но лишь только Дема показывался в деревню, его сразу обдавало холодом. Через некоторое время... он видел, что делать ему здесь нечего и оставаться нельзя. Таким образом, поколотившись дома с месяц, он уходил снова бродяжить. С течением времени его появления в деревне делались все реже и реже. Его уже не влекло сюда с такой силой, как прежде, в начале его кочевой жизни...»

А потом пришло такое время, когда деревня опостылела Деме.

«Являясь туда, он не знал, как убраться назад; по приходе домой он не находил себе места. На него разом наваливалось все, от чего он бежал; мигом он погружался в обстановку, в которой он раньше задыхался. Как ни жалки были условия его фабричной жизни, но, сравнивая их с теми, среди которых он принужден был жить в деревне, он приходил к заключению, что жить на миру нет никакой возможности... Вне деревни Дему по крайней мере никто не смел тронуть, и то место, где ему было не под силу и где ему не нравилось, он мог оставить; а из деревни нельзя было уйти во всякое время... Но важнее всего: вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унижительных оскорблений. Страдало человеческое достоинство, проснувшееся от сопоставления двух жизней, и деревня для Демы, в его представлениях, стала местом мучения. Он бессознательно начал питать к ней недоброе чувство. И чувство это росло и крепло». Деме оставалось только развязаться как-нибудь с наделом, чтобы связь его с деревней порвалась, наконец, навсегда. Хотя он и продолжал еще числиться общинником, но крестьянином его можно было бы назвать разве только в смысле *слова*. Смешно было бы и заикаться о «стройности» его земледельческих «идеалов». Таких идеалов у него уже совсем не имелось.

«В нем произошло полное разрушение старых понятий и желаний, с которыми он жил в деревне».

И, однако, так велика сила привычки, что, когда Дема явился в последний раз домой, у него зашевелилось сожаление о своем старом крестьянском житье-бытье. «Раз ты ушел, хозяйство забросил, и уж ты не вернешься», — грустно говорил он, сидя в компании таких же, как он, «кочевых народов», собиравшихся на другой день уходить на заработки.

Такое же чувство испытывали и все его собеседники. Но все они понимали, что судьба их решена бесповоротно, и потому только сердились на Дему за его бесполезные сожаления. «И не надо», — угрюмо возразил Потапов в ответ на ту мысль Демы, что «уж обратно пути тебе нету».

«— Как не надо? Домой-то! — удивился Дема.

— Так и не надо. Будет! Меня арканом сюда не затащишь, больно уж неспособно.

— Ну, все же домишка-то жалко, ежели он еще разваливается, — заметил Петр Беспалов.

— И пущай его разваливается. Сытости в нем нет, потому что он гнилой! — сострил Клим Дальний, но ему никто не сочувствовал.

— Про то-то я и говорю: ушел ты, и хозяйство прахом, — настаивал Дема, в голове которого, по-видимому, безотлучно сидела мысль о конечном его разорении.

— Кто же этого не знает? — с неудовольствием заговорил Кирюшка Савин, возмущившийся тоскливым однообразием разговора. — И что ты наладил: ушел, ушел! Слово без тебя не знаем! Тоска одна!»

Неожиданная смерть давно уже, впрочем, «лежавшей пластом» жены Демы замедлила его уход лишь на то короткое время, которое потребовалось для похорон. На другой же день после погребения, рано утром, «кочевые народы» двинулись в путь.

«— Приходи повидаться-то, — сдержанно выговорила старуха-мать Демы, старавшаяся не выказать своего волнения.

— А может, и не свидимся, — задумчиво отвечал он».

За Демой последовали другие. Разложение парашкинской общины быстро подвигалось вперед. Неумолимая сила экономической необходимости гнала крестьянина от земли, обращая в ничто все его земледельческие привязанности. Вот перед нами веселый крестьянин Минай Осипов («Фантастические замыслы Минай»). Это величайший фантазер в мире, своего рода Дон-Кихот земледелия. «Оглушить» его, как выражается автор, то есть показать ему воочию всю безнадежность его хозяйственного положения, было очень трудно. «Он как будто в крови от прародителей получил привычку глядеть легкомысленно». Хлеба у него никогда не хватает до новой жатвы, так как полученные им в надел «болотца» отказываются вознаграждать его труд. Скота у него мало, изба совсем разваливается. Но парашкинский Дон-Кихот не унывает. Он тешит себя своими «фантастическими замыслами» относительно будущего. «Приедет он с зимнего извоза, разденется, разуется, ляжет на полати и начинает фантазировать. Придумывает он тут разные измышления, высчитывает бесчисленные счастливые случаи и сам восхищается своими созданиями... Фантазия его ни перед чем не останавливается... В конце концов всегда оказывается, что хлеба достанет и подати будут уплачены». Чудеса, на которые рассчитывал Минай в деле поправки своего хозяйства, были двоякого рода. Одни относились к области явлений природы, в тесном смысле этого слова, и приурочивались главным образом к хорошему урожаю, которым, по его соображениям, должны были отплатить за его труды «бо-

лотца». Другие стояли в тесной связи с его взглядами на царя как на защитника крестьянских интересов, который должен же понять наконец, что на скудной доходности «болотцев» не могут основываться никакие платежные силы. Минай мечтал то о «черной банке», которая позволит каждому крестьянину прикупить земли сколько его душе угодно, то об еще более отрадном событии, о знаменитом черном переделе, который он называл «приделом». Ему, — извольте ли видеть, — сказывал на базаре знакомый мужик Захар, что «придел скоро будет, уж это, говорит, верно... беспременно, говорит». И Минай не только терпеливо, но даже как-то радостно, с шутками и прибаутками, нес выпавший ему на долю крест русского земледельца. Он любил свой дом, свою общину и готов был до конца постоять за первое встретившееся мирское «апчественное дело». Но печальная действительность все-таки нередко брала верх над его фантазиями. Это случалось с ним чаще всего под пьяную руку. «Слышь, Дунька, — кричал он, возвращаясь домой из кабака. — Слышь, Дунька, а хлеба-то у нас не будет... ни в едином разе, ни в единственном... не будет и не будет! Хлеба-то не-е будет!» Минай принимался плакать, а жена его, Федосья, старалась поскорей уложить его спать.

Такое мрачное настроение исчезало, правда, вместе с винными парами, но исчезало, как видно, не бесследно. Время от времени Минаю приходили мысли, очень плохо вязавшиеся с его ролью общинника. Его смущал кулак Епифан Иванов, или, попросту, Епишка. Этот паразит некогда был самым жалким оборванцем и торговал на городском базаре гнилой рыбой. Потом ему удалось попасть в Парашкино, где он открыл питейное заведение и понемногу разжился. К тому времени, о котором идет речь в очерке г. Каронина, он уже совершенно забрал парашкинцев в свои руки. Его-то пример и заставлял Миная задумываться.

«Минай часто надолго забывал Епишку, но когда ему приходилось жутко, он вспоминал его. Епишка сам лез к нему, мелькал перед глазами, расшибал все старые его представления и направлял мечты его в другую сторону. Главное, Епишка во всем успевал; не потому ли он успевал, что никакого «опчисва» у него нет?»

На этом роковом для общинных «идеалов» объяснении он невольно останавливался все чаще и чаще. «Епишка ни с чем не связан, Епишка никуда не прикреплен; Епишка может всюду болтаться... Были бы только деньги, а в остальном прочем ему все трын-трава... Минай неминуемо приходил

к выводу, что для получения удачи необходимы следующие условия: не иметь ни родственников, ни знакомых, ни «опчисва» — жить самому по себе. Быть от всего оторванным и болтаться, где хочешь... Для Миная Епишка был факт, которым он поражался до глубины души. Сделав свой доморощенный вывод из факта, он принимался размышлять дальше». «Иногда ему приходило на мысль бегством разорвать связывавшие его «апчественные» пути. «Опчисво» казалось ему врагом, от которого надо удрать как можно скорее. Но и удрать нелегко было бедному фантазеру. Нелегко — по многим причинам. Во-первых, Епишка был не только свободным от общественной тяготы человеком, но еще и человеком с деньгами, а именно денег-то и не было у нашего героя. Кроме того, Минай прекрасно знал, что «опчисво» не так-то легко отпускает своих членов на все четыре стороны. И «на каком бы месте ни садился Минай в своем воображении, перед ним всегда мелькает такая картина:

— Минай Осипов, здесь?

— Я — Минай Осипов.

— Ложись.

Это представление преследовало его, как тень. Куда бы он ни залетал в своих фантастических поездках, но в конце концов он соглашался, что его найдут, привезут и разложат».

Одного этого обстоятельства, так много говорящего в пользу несокрушимости «устоев», достаточно было, чтобы замедлить полет фантазии Миная, давала себя чувствовать также и сильно укоренившаяся привычка к обществу. «Минай только на минуту забывал его. Когда же он долго останавливался на какой-нибудь картине одиночной «жисти», его вдруг охватывала тоска».

«Как же это так можно? — с изумлением спрашивал он себя. — Стало быть, я волк? И окромя, стало быть, берлоги мне уж некуда будет сунуть носа?!» У него не будет тогда ни завалинки, на которой он по праздникам шутки шутит и разговоры разговаривает со всеми парашкинцами, ни схода, на котором он пламенно орет и бушует, — ничего не будет! «Волк и есть», — оканчивал свои размышления Минай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его так сильно, что он яростно плевал на Епишку и уж больше не думал раздражать ему».

Когда люди держатся за данные общественные отношения лишь в силу старой привычки, между тем как действительность идет вразрез с их привычкой, то можно с уверенностью сказать, что отношения эти близятся к концу. Тем или

другим образом они будут заменены новым общественным порядком, на почве которого возникнут новые привычки. Хотя наш Дон-Кихот с ужасом думал о разрыве с общиной, но тем не менее связь его с нею была уже окончательно подорвана. Под нею не было никакой реальной основы. «Это только временная узда, — говорит Каронин. — Придет время, когда парашкинское общество растает, потому что Епишка недаром пришел... Он знаменует собой пришествие другого Епишки, множества Епишек, которые загадят парашкинское общество». Впрочем, Минаю пришлось покинуть деревню, не дожидаясь пришествия «множества Епишек». Он «утек» в город, когда у него вышел последний, взятый в долг, мешок муки и когда занимать было уже негде, потому что он и без того задолжал всем и каждому. Чтобы обезопасить себя от всяких преследований со стороны парашкинского «опчисва», которое могло бы через посредство администрации его поймать, привести и «разложить» его в волостном правлении, Минай должен был вступить в тайнственные переговоры с писарем Семеньчем, выдавшим ему годовой паспорт. Община, уже неспособная поддерживать благосостояние своих членов, могла еще сильно вредить попыткам их устроиться на новом месте.

В письмах к жене Минай фантазировал по-прежнему. Он уверял ее, что скоро заработает большие деньги и что они купят новую избу и станут «жить семейственно, с детками». Но автор не говорит, сбылись ли эти новые «фантастические замыслы» его героя.

III

Вернее всего, что не сбылись, потому что парашкинское общество совсем исчезло с лица земли. История его исчезновения изложена в рассказе «Как и куда они переселились». Невозможно передать то невыносимо тяжелое впечатление, какое производит этот рассказ г. Каронина. Краски так черны, что читатель невольно спрашивает себя: неужели здесь нет никакого преувеличения?

К несчастью, преувеличения нет, и мы увидим, что автор ни на шаг не отступил от печальной русской действительности.

Когда мы перечитывали этот рассказ, нам припомнились слова Шиллера: «Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst»*⁶. Увы, к нам неприменимы эти слова! Печальна наша общественная жизнь, и вовсе не весело искусство, служащее ее верным отражением.

* «Серьезна жизнь и радостно искусство» (нем.). — Ред.

Но вернемся к нашему предмету. Парашкинское «опчи-сво» находилось при последнем издыхании. В несчастной деревне водворялась мерзость запустения.

«Прежде деревня тянулась в два ряда вдоль реки, — читаем мы в рассказе, — а теперь остались от улицы одни только следы. На месте большинства изб виднелось пустое пространство, заваленное навозом, щепками и мусором и поросшее травой. Кое-где вместо изб — просто ямы. Несколько десятков изб — вот все, что осталось от прежней деревни... Поля вокруг деревни уже не засеивались сплошь, как прежде; во многих местах желтели большие заброшенные плешины; там и сям земля покрылась вереском», скот отоцал и «едва волочил ноги, паршивый, худой, с ребрами наружу и с обостренными спицами».

Бедные парашкинские обыватели прониклись каким-то странным равнодушием ко всему окружающему. Они, когда-то с тревогой и недоумением задававшие себе вопрос: «кто же будет платить, если мы все разбежимся?» — теперь забыли и думать об этом роковом вопросе, хотя он не только остался неразрешенным, но делался все более и более неразрешимым, по мере того как суживался круг плательщиков. На них накопились неоплатные недоимки, кулак Епишка кругом запутал их в свои сети, у них не было ни хлеба, ни других запасов, — и все это не могло пробить коры овладевшего ими равнодушия. «Они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смысл. Существование их за это время было просто сказочное. Они и сами не сумели бы объяснить сколько-нибудь понятно, чем они жили». Иногда им подвертывались случайные заработки, иногда они ухитрялись находить новые питательные вещества, вроде отрубей, которыми они раздобылись у мельника Якова, или клевера, который получали от помещика Петра Петровича Абдулова.

Несколько раз приходила им на помощь земская ссуда, но этого, разумеется, было недостаточно. Парашкинцы голодали. Встревоженное слухами об их безнадежном положении, губернское земство нарочно прислало гласного, который на месте должен был ознакомиться с их нуждами. Гласный собрал парашкинцев около волостного правления и хотел вступить с ними в разговор. «Парашкинцы, однако, молчали, и каждое слово надо было вытягивать из их уст».

«— Вы все собрались? — спросил прежде всего гласный. Парашкинцы переглянулись, потоптались на своих местах, но молчали.

— Только вас и осталось?

— А то сколько же! — грубо отвечал Иван Иванов.

— Остальные-то на заработках, что ли? — спросил гласный, раздражаясь.

— Остатние-то? Эти уж не вернутся... не-ет! Все мы тут.

— Как же ваши дела? Голодуха?

— Да уж, надо полагать, она самая... Словно как бы дело выходит на эту точку... Стало быть, предел, — отвечало несколько голосов вяло и апатично.

— И давно так?

На этот вопрос за всех отвечал Егор Панкратов:

— Как же недавно? — сказал он. — С которых уж это пор идет, а мы все перемогались, все думали, авось пройдет, авось бог даст... Вот она, слепота-то наша какая!

— Что же вы, чудаки, молчали?

— То-то она, слепота-то, и есть! — и т. д.

Впрочем, из дальнейшего разговора парашкинцев с гласным оказалось, что положение их нисколько не изменилось бы даже и в том случае, если бы они не молчали.

«А что, ежели спросить вашу милость, — сказали они ему, — к примеру, насчет, будем прямо говорить, ссуды... будет нам ссуда, ай нет?» — «Ничего вам не будет, — мрачно ответил он и уехал».

Его отказ мало огорчил парашкинцев. Они уже и не ожидали помощи ниоткуда. По-видимому, им оставалось только «помирать», как вдруг крестьянин Ершов неожиданно заговорил о переселении на новые места. По его словам, он знал такие благодатные места, добравшись до которых парашкинцам «помирать» не было бы уже никакой надобности. «Перво-наперво — лес, гущина такая, что просвету нет... — говорил он после одной сходки, — и земля... сколько душе угодно, а на-зем, чернозем стало быть, косая сажень в глубину, во как!» Радостно забились от этих слов одичавшие сердца парашкинцев. Соблазнительная картина тех мест, где «земли сколько душе угодно», сообщила им новую энергию, «прежней апатии и спокойствия не замечалось уже ни на одном лице». Ершова окружили со всех сторон и засыпали вопросами.

Главный вопрос, немедленно возникший в головах этих будто бы «свободных» земледельцев, заключался в том, отпустит ли их начальство.

«— Ловок! Уйдешь! Как же ты уйдешь, выкрутишься-то как отсюда?» — кричали Ершову.

— Отселе-то как выкрутиться? Говорю — возьмем паспорта и уйдем, по причине, например, заработков, — возразил Ершов и сам начал волноваться.

— А как поймают?

— На кой ляд ты нужен? Поймают! Кто нас ловить-то будет, коли ежели мы внимания не стоим по причине недоимок? А мы сделаем все как следует, честь честью, с паспортами...»

Чтобы окончательно столкнуться относительно того, как «выкрутиться», постановили устроить тайный сход ночью в лесу, вдаль от бдительного ока волостного начальства. На этом сходе решено было на другой же день взять паспорта, а затем, не откладывая, выступить в путь.

Весьма характерна следующая подробность. Так как вместе с притоком новых сил к парашкинцам возвратилось сознание о роковой необходимости платить, то они тотчас же поняли, что хотя они и «не стоят внимания по причине недоимок», как говорил Ершов, но предержанием властям все-таки, пожалуй, не понравится их исчезновение.

Поэтому заговорщики упростили своего деревенского грамотея Фрола, всегда игравшего у них роль ходатая по делам, «отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за них; хоть задним числом — все же, может, простят их!» Сказано — сделано. Парашкинцы взяли паспорта и отправились в путь-дорогу. На старом пепелище осталось только четыре семьи: старуха Ивановна (мать знакомого нам Демы), да еще дедушка Тит, сильно не одобрявший затеи парашкинцев. «Не донесете вы своих худых голов,— кричал он, грозно стуча в землю костылем,— свернут вам шею! Помяните слово мое, свернут!» У этого старика связь с землею была вообще гораздо прочнее, чем у остальных парашкинцев, принадлежавших уже к другому поколению. «Где он родился, там и помирать должен; которую землю облюбовал, в ту и положит свои кости»,— так отвечал он на все убеждения своих односельчан, казавшихся ему легкомысленными мальчишками. Эта черта заслуживает большого внимания. Н. Златовратский также показывает во многих из своих очерков, что привычка к «устоям» у стариков гораздо сильнее, чем у крестьян молодого поколения.

Итак, парашкинцы двинулись на новые места. Они шли с легким сердцем, бодрые и радостные. Радость их была, однако, очень кратковременна. За ними по пятам гнался становой, как фараон за бежавшими из Египта евреями.

«— Это вы куда собрались, голубчики?— закричал он, нагнавши их на пятнадцатой версте.

Парашкинцы в оцепенении молчали.

— Путешествовать вздумали? а?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? В какие же стороны?— спросил становой и потом, вдруг переменяя тон, заговорил горячо:— Что вы затеяли... а? Переселение? Да я вас... вы у меня вот где сидите! Я из-за вас двое суток не спавши... Марш домой... У! Покою не дадут!

Парашкинцы все еще стояли оцепенелые, но вдруг, при одном слове «домой», заволновались и почти враз проговорили:

— Как тебе угодно, ваше благородие, а нам уже все едино! Мы убедем!»

Полицейский фараон не испугался этой угрозы и повел беглецов назад, в Парашкино. Двое понятых сели на переднюю телегу переселенцев, а сам он поехал сзади. В таком виде тронулся этот странный поезд, напомилавший, по словам г. Каронина, «погребальное шествие, в котором везли несколько десятков трупов в общую для них могилу — в деревню». На половине дороги становой выехал на середину поезда и громко спросил:

«— Ну, что, ребята, надумались? или все еще хотите бежать? Бросьте! Пустое дело!

— Убедем! — твердо отвечали парашкинцы».

Перед въездом в деревню становой возобновил *меры кротости и увещания*.

«— Убедем!— с тою же мрачною твердостью отвечали парашкинцы». Бдительный и расторопный начальник, не ожидавший ничего подобного, струсил и растерялся.

Его положение в самом деле было затруднительное. Впрочем, он еще не окончательно потерял надежду сломить упорство беглецов, и чтобы пробудить в их ожесточившихся сердцах любовь к благодетельной «власти» болотцев, он решил употребить несколько более энергичные средства. Он запер пойманных парашкинцев в бревенчатый загон, куда пастухи помещика Абдулова загоняли скот. Там он решил держать их, «пока не сознаются в незаконности своих действий и не откажутся от желания бежать».

Более трех дней просидели пленники в скотском загоне, без пищи для себя, без корму для лошадей, но решение их было неизменно.

«Убедем!»— говорили они на все угрозы. Наконец терпение фараона лопнуло. На него напала такая «меланхолия», что он не знал, как вырваться из несчастной деревни. «Черт с вами! Живите, как знаете!»— воскликнул он и уехал. «А через не-

сколько дней после его отъезда парашкинцы бежали. Только не вместе и не на новые места, а в одиночку, кто куда мог, сообразуясь с направлением, по которому в данную минуту смотрели глаза. Одни бежали в города... Другие ушли неизвестно куда и никем после не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностям, не имея ни семьи, ни определенного занятия, ни пристанища, потому что в свою деревню ни за что не хотели вернуться. Так кончили парашкинцы.

Не правда ли, читатель, вам кажется все это странным и до крайности тенденциозным преувеличением? Но мы можем уверить вас, что нарисованная г. Карониным картина совершенно верна действительности. Рассказ «Как и куда они переселились» — это настоящий «протокол», хотя и не в духе золаистов. Вот вам довольно убедительное доказательство. В 1868 году в славянофильской газете «Москва» (№ 4 от 4 октября) было сообщено, что многие крестьяне Смоленской губернии продают все свое имущество и бегут куда глаза глядят. Пореческий исправник так излагал это явление в своем донесении о нем губернским властям: «Вследствие затруднительного в последнем году положения по продовольствию крестьян государственных имуществ вверенного мне уезда, Верховской, Касплинской, Лоинской и Иньковской волости, крестьяне-одиночки, обремененные семействами, распродали на продовольствие скот и другое имущество; не удовлетворив же этим своих нужд по продовольствию, приступили к распродаже засеянного хлеба, построек и всего остального своего хозяйства и под предлогом заработков забирают свои семейства с целью переселиться в другие губернии...»

«Безысходное голодающее состояние крестьян, — писал тот же исправник дальше, — поселило в них дух отчаяния, недалекий до беспорядков...» Разбредаящихся крестьян отравились ловить и водворять на место жительства смоленский вице-губернатор, исправник и жандармский полковник, но убеждения их оказались тщетными. «Крестьяне Иньковской волости заявили вице-губернатору, что они во всяком случае уйдут и что, если их воротят с дороги и подвергнут тюремному заключению, это все-таки будет лучше, чем умирать дома от голода».

Мы передали этот факт так, как он рассказан «Москвою». Скажите, заявление смоленских крестьян — разве это не то же, что каронинское «убегем»? А ловля их вице-губернатором, исправником и жандармским офицером, — ведь это нечто еще

более грандиозное, чем каронинская погоня станового за парашкинцами. Извольте же после этого обвинять нашего автора в преувеличениях!

IV

Когда наша народническая «интеллигенция» рассуждает о так называемых «устоях» народной жизни, она забывает о реальных, исторических условиях, в которых этим «устоям» приходилось развиваться.

Даже не сомневаясь в том, что сельская поземельная община очень хорошая вещь, следовало бы помнить, что история часто шутит очень злые шутки с самыми хорошими вещами и что под ее влиянием сплошь да рядом разумное превращается в нелепое, полезное во вредное. Это хорошо знал еще Гете⁷. Недостаточно одобрять общину в принципе, нужно спросить себя, каково живется *современным русским общинникам в современной русской общине*, и не лучше ли было бы, если бы эта *современная* община — со всеми ее *современными, действительными*, а не *вымышленными* условиями — перестала существовать? Мы видели, что самым фактом своего бегства парашкинцы ответили на этот вопрос утвердительно. И они были правы, потому что деревня стала для них «могилой». Мы все боимся вторжения в деревню «цивилизации», то есть капитализма, который будто бы разрушит народное благосостояние. Но, во-первых, в лице «множества Епишек», то есть в лице представителей ростовщического капитала, «цивилизация» уже вторглась в деревню, несмотря на все наши жалобы, а во-вторых, пора же, наконец, сообразить, что нельзя разрушить то благосостояние, которое не существует. Что потерял Дема, переходя из-под власти «болотцев» под власть машины? Вы помните: «Как ни жалки были условия его фабричной жизни, но, сравнивая их с теми, среди которых он принужден был жить в деревне, он приходит к тому заключению, что жить на миру нет никакой возможности... Пища его улучшилась, то есть он был уверен, что и завтра будет есть, тогда как дома он не мог предсказать этого... Но важнее всего: вне деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему ряд самых унижительных оскорблений».

Вспомните также, что у Демы при мысли о деревне «страдало человеческое достоинство, проснувшееся от сопоставления двух жизней», то есть жизни деревенской, на почве старых «основ», и жизни на фабрике, под властью капитализма. «Меня арканом сюда не затащишь!» — говорит однодеревенец Демы,

Потапов, может быть под влиянием подобного же ощущения. «Эти уже не вернуться, не-е-т!» — уверяет гласного Иван Иванов насчет покинувших деревню «кочевых народов». Или все это не убедительно? Или, может быть, вы опять заговорите о преувеличениях? Но тогда обвиняйте всю *народническую* беллетристику, потому что и у Гл. Успенского, и у Златовратского, и даже у Решетникова вы можете найти совершенно подобные черты современной народной психологии, хотя и в менее ярком виде. Загляните также в статистические исследования, — и вы увидите там, что многие крестьяне-«собственники» *платят* своим арендаторам за то только, чтобы те хоть на время развязали их с землей. Да что статистика! Снимите народническую повязку с своих глаз, присмотритесь к быту рабочих, познакомьтесь с ними, — и вы у многого множества из них встретите по отношению к деревне то же самое «недоброе чувство», какое, по словам г. Каронина, питал к ней Дема.

Многому множеству из них деревня и деревенское общество действительно представляются не чем иным, как «местом мучений». Странно, ввиду этого, скорбеть о пришествии к нам «цивилизации» и о разрушении фабрикой несуществующего народного благосостояния! Известно, что нашего брата, русского марксиста, очень часто и очень охотно обвиняют в *западничестве*. Вообще говоря, мы гордимся этим упреком, потому что все лучшие русские люди, оставившие наиболее благодетельные следы в истории умственного развития нашей страны, были решительными и безусловными западниками. Но на этот раз мы хотим повернуть против наших противников их собственное оружие и показать им, как много в их рассуждениях бессознательного (а следовательно, и необдуманного) западничества.

Толки о разрушении капитализмом народного благосостояния ведутся у нас с западноевропейского голоса. Но на Западе толки эти имели огромный смысл, потому что вполне соответствовали действительности.

Развитие капитализма в большинстве западноевропейских стран действительно понизило уровень народного благосостояния. И в Англии, и в Германии, и даже во Франции перед началом капиталистической эпохи, в конце средних веков, трудящиеся классы отличались такой степенью зажиточности, до какой им очень далеко в настоящее время*.

* См. Янсена, Die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes beim Ausgang des Mittelalters, Freiburg, 1881, Drittes Buch, Volkswirtschaft («Общее положение немецкого народа в конце средних веков», Фрейбург, 1881, третья книга «Народное хозяйство». — *Ред.*). О положении английских

Поэтому западноевропейские социалисты правы, когда говорят, что капитализм принес к ним с собою народное оскудение (хотя необходимо заметить, что они вовсе не заключают отсюда, что капитализм был не нужен). Но разве же можно приравнивать современное положение русских крестьян к положению хотя бы английских трудящихся классов в конце средних веков? Ведь это же величины, бесконечно далекие одна от другой. Английский рабочий может иногда вспомнить добром материальное положение своих средневековых предков. Но следует ли отсюда, что современный наш русский фабричный рабочий должен сожалеть о современной нам русской деревне, в которой он не испытывал ничего, кроме физических и нравственных страданий? Нет, вовсе не следует, не следует именно потому, что поминать о ней добром ему решительно не за что.

По отношению к народному благосостоянию русская история шла совсем не так, как западноевропейская. То, что, например, в Англии съел *капитализм*, у нас уже съело *государство*. Об этом не мешало бы помнить нашим противникам западничества. Герцена поразил когда-то «страшно нелепый факт, что лишение прав большей части населения шло (у нас), увеличиваясь от Бориса Годунова до нашего времени»⁸. В этом факте нет ничего нелепого. Иначе и быть не могло при нашей экономической неразвитости и при тех требованиях, которые навязывались русскому государству соседством с гораздо более развитой Западной Европой, а отчасти и самодурством наших самодержцев, часто бравшихся за решение совершенно чуждых интересам России вопросов международной политики. За все это, и за соседство с Западной Европой и за политические прихоти самодержцев, расплачивался русский мужик, наша единственная платежная сила. Русское государство брало и берет у своего трудящегося населения относительно (т. е. применительно к его экономической состоятельности) более, чем брало когда бы то ни было и какое бы то ни было государство в мире. Отсюда беспримерная бедность русского крестьянства, отсюда же и «лишение прав большинства населения», которое посредством или непосредственно закрепощено было государству. Само освобождение крестьян «с землей», до сих пор приводящее в умиление людей чувствительных, но не очень умных, было у нас не чем иным, как рабочих накануне окончательного торжества капитализма см.: Энгельс, Lage der arbeitenden Klasse in England («Положение рабочего класса в Англии». — *Ред.*); Маркс, Das Kapital («Капитал». — *Ред.*), а также книгу Роджерса, Six centuries of Work and Wages («Шесть столетий труда и оплаты». — *Ред.*).

новой попыткой обеспечить на счет крестьян удовлетворение денежных нужд государства. Земля давалась им затем, чтобы обеспечить им исправное исполнение их «обязанностей по отношению к государству», а лучше сказать затем, чтобы оставить государству благовидный предлог для выжимания из них всех соков. Государство спекулировало на выкупной операции, продавая крестьянам земли дороже, чем платило за них помещикам. Так возник новый, современный нам вид крепостной зависимости крестьян, благодаря которой у них часто отбирается (припомните нашу статистику) не только доход, приносимый наделом, но и значительная часть постороннего заработка. Бегство крестьян из деревень, стремление их разделаться с землей означает только желание их сбросить с себя эти новые крепостные цепи и спасти по крайней мере свой посторонний заработок*. Ловля же крестьян администрацией показывает, что государство прекрасно понимает эту сторону дела и, водворяя крестьян на место жительства, снова и снова старается обеспечить исправное исполнение их «обязанностей» по отношению к нему. Нам ли, демократам какого бы то ни было цвета, сочувствовать подобной ловле? Нет, нет и нет, мы приветствуем бегство крестьян от земли, потому что мы видим в нем начало конца, экономический пролог великой политической драмы: падения русской самодержавной монар-

* Вот весьма поучительная сценка, заимствуемая нами из одного очерка Гл. Успенского. Он встречает одного из представителей «кочевых народов», который кажется ему каким-то «воздушным существом», и вступает с ним в беседу.

«Когда я спросил его: куда он теперь идет и зачем? — то воздушное существо отвечало: — А и сам не знаю!.. Главное — капиталу нет нисколько! Да и паспорта нету, подати требуют! — Слова о податях являлись какою-то неожиданностью в общем впечатлении воздушного человека; капиталу у него нет, паспорта нет, куда идет — неизвестно; нет у него ни табаку, ни одежды, ни шапки — и вдруг какие-то подати! — За что же ты платишь-то? — спросил я, недоумевая. — За две души платим. — Один? — Вот как есть! — Стало быть, у тебя земля есть? — Воздушный человек подумал и весело прочиркал по-птичь: — Не! Мы платим с *пуста!*

Разговор о податях, готовый было разрушить мое впечатление о воздушности человека, благодаря последней фразе «с *пуста*» вновь прервал всякую связь между ним и действительностью; он опять оказался существом вполне воздушным, что и поспешил подтвердить следующими веселыми словами.

— Нам с *пуста* платить — самое приятное дело!.. Ежели бы платить не с *пуста*, так куда бы хуже было... А с *пуста*-то, слава тебе господи! — С *пуста* платить лучше, чем не с *пуста*? — чувствуя, что я вместе со своим собеседником после последних слов как бы поднялся от земли к небу и нахожусь в воздушном пространстве, спросил я с удивлением и с удивлением же услышал еще более веселые слова: — Бесподобно хорошо с *пуста*-то платить!..

хии. Самодержавная монархия зашла слишком далеко, она «не по чину берет» и, вынуждая крестьян бежать от земли, разрушая все старые основы их экономической жизни, она разрушает вместе с тем свое собственное экономическое основание.

Когда-то, во времена мамаевской Руси, все не выносившие государственной тяготы бежали на окраины: на «тихий Дон», на «матушку Волгу» и оттуда, собравшись в огромные шайки «воровских людей», не раз угрожали государству. Теперь обстоятельства изменились. На пустынных некогда окраинах закипела новая экономическая жизнь, пульс которой бьется даже быстрее, чем в центре. Покинувшие деревню «кочевые народы» группируются теперь уже не в «воровские» шайки, а в рабочие батальоны, управиться с которыми русскому правительству будет потруднее, чем с удалцами доброго старого времени. В этих батальонах зреет новая историческая сила. Не стихийный, разбойничий протест подвинет ее на борьбу с правительством, а сознательное стремление перестроить общественное здание на новых началах и на основе тех могучих производительных сил, которые создаются теперь их трудом на фабриках. Пусть же самодержавие делает свое дело, пусть помогают ему в этом дельцы и предприниматели. От их успеха русский народ *уже не может ровно ничего потерять*. Напротив, он *наверное очень много выиграет*.

V

Не подумайте однако, что разложение старых «устоев» народной жизни совершается исключительно под влиянием непомерных платежей, взваленных на общину государством. Во-первых, дело не столько в самых тягостях, сколько в том ха-

— Постой! — сказал я, чувствуя как бы головокружение от высоты подъема над земной поверхностью. — Ты говоришь, с *пуста* платить лучше. То есть платить, не получая земли? — Это самое! — Почему так? Ведь землю ты мог бы отдать в аренду?.. — Воздушный человек засиял радостью: — Да она болото у нас!..

Этот ответ опять как бы приблизил нас к земле.

— Болото!.. Но почему же тебе все-таки выгодно платить и без болота? Чем оно тебе мешает?.. — Да не дай бог к нему касаться, к болоту-то! — Ты и не касайся! — Не касался бы, так оно касается. Возьми-ко я болото, — ан уж я общественник стал! С меня уж и на старосту возьмут, и на волость, и подорожные повинности, и мостовую, и караул, — и — боже мой чего еще!.. А как я от земли отказался, остается мне моя душа, и больше ничего... Отдал за две порции — и знать ничего не надо!.. («Северный вестник», 1889, 3-я книжка, стр. 210—211)⁹.

рактуре *денежных* платежей, который необходимо принимают эти платежи в современной России и под влиянием которого крестьянское хозяйство из натурального превратилось в товарное. Кроме того, «когда общество попало на след естественного закона своего развития»¹⁰, все его внутренние силы, работа в самых различных направлениях, делают, в сущности, одно и то же дело. Со времени Петровской реформы государство сделало очень много для того, чтобы толкнуть Россию на путь товарного, а затем и капиталистического производства. Но теперь в этом направлении действует уже не одно только государство. Напротив, одной рукой толкая Россию на этот путь, государство другой рукой стремится задержать ее на старом. Об это противоречие и разобьется наше самодержавие, потому что оно пустило в ход такой хозяйственный двигатель, с которым ему необходимо придется столкнуться.

Но в настоящее время помимо государства есть другая, еще более страшная сила, ведущая Россию на путь капитализма. Она называется внутренней логикой народных экономических отношений. И нет власти, которая могла бы остановить ее действие! Она проникает везде, ее влияние сказывается повсюду, она накладывает свою печать на все попытки крестьян улучшить свое хозяйственное положение. Посмотрите, как хорошо изобразил эту сторону дела разбираемый нами автор. Крестьяне деревни Березовки (рассказ «Братья») переселились из внутренней России в одну из привольных степных губерний. На родине они бедствовали, на новых местах им удалось добиться «некоторого материального довольства». Казалось бы, что тут-то и должно было начаться блестящее развитие знаменитых «устоев». Вышло, однако, как раз наоборот. На родине, в нужде и несчастье, у них «была одна душа», как говорили старики; на новых местах началось внутреннее разложение их общества, завязалась «невидимая борьба между особью и миром». Постепенно «каждый сельский житель стал сознавать, что он ведь человек, как все, и создан для себя, и больше ни для кого, как именно для себя! И каждый ведь сам может жить, устраиваясь без помощи бурмистра, кокарды и «опчества». В доказательство этого открытия в соседних с Березовкой местах поселились примеры. Первый пример приехал из соседнего города, купил у казны участок степи и стал жить на нем под видом мещанина Ермолаева и зажил, по выражению всех березовцев, «дуже шибко». Другой пример носил кокарду; самого его никто не видел, но вместо него сел на степь второй гильдии купец Пролетаев — «превосходная шельма». Третий пример проявился в

этих местах вроде не помнящего родства, потому что ни один из березовцев не знал его происхождения и звания: «кажись, мужичок по обличью, но уж очень серьезности в ем много...»

А прочие-то люди, жившие в пределах деревни, люди, ни к какому обществу не приписанные и ни с чем не связанные, разве они не были вескими доводами в пользу новой жизни? Каждый из сельских жителей очень часто *думал* об этих явлениях; и решительно не было ни одного человека, который в свободные минуты не думал бы купить себе участочек, завести «лавочку, что ли, ин кабак».

«Никто из мужиков не осуждал нравственно людей, живших подобными предприятиями; напротив — «любозное это дело!» Людей такого сорта уважали за ум, считали «шельмовство» одной из способностей человеческого разума. И в то же самое время каждый из березовцев уважал мир, покоряясь ему и продолжая жить в нем. Совесть мужика расколослась тогда пополам; к одной половине отлетели «примеры», на другой остался мир. Явились две совести, две нравственности». Спрашивается, как отразилась, как *могла* отразиться на настроении отдельных особей такая двойственность в настроении всего мира? Само собою разумеется, что здесь дело видоизменялось сообразно с личными особенностями особей. У одних перевес брали пока еще старые привычки; другие — склонялись на сторону новшеств, то есть лавочки, кабака и т. п.

И замечательно, что на сторону таких новшеств склонялись наиболее энергичные и наиболее даровитые натуры. Впрочем, так всегда бывает в тех случаях, когда известный общественный порядок близится к концу. Его дряхлость выражается в том, что лишь пассивные, недеятельные натуры продолжают подчиняться ему без протеста и без рассуждения. Все, что покрупнее, посамобытнее и посмелее, бежит вон или по крайней мере настойчиво ищет выхода. Нечего и прибавлять, что когда новым наступающим порядком является порядок *буржуазный*, то подобные искания часто принимают очень некрасивый вид. В рассказе «Братья» представителями этих двух начал, пассивного и активного, являются два брата: Иван и Петр Сизовы. Иван простодушен, как ребенок. Он живет так, как жили его прародители, не воображая, что можно жить иначе. Да ему, по его характеру, в иной жизни нет и надобности. Иная жизнь — это жизнь особняком, вне «мира», на свой страх и исключительно для своей пользы. А Иван — человек общественный, он любит свой «мир» и никогда не бывает так счастлив, как в то время, когда приходится делать

какое-нибудь мирское дело *сообща*. Он лезет из кожи вон во время земельных переделов, которые, как известно, являются в деревне настоящими священнодействиями; он не пропускает ни одного сборища, а когда дело доходит до общественной, мирской выпивки, то он немедленно принимает на себя роль хозяина, потому что «никто так не умел делить и подносить чарки общественной водки, когда миру удавалось содрать с кого-нибудь *штрах*» (т. е. штраф). Мир хорошо понимал характер своего члена, и когда решили прикупить у казны на общий счет участок земли, то Иван был выбран ходоком и ему вручили общественные деньги.

Не таков был Петр. Умный, настойчивый, деятельный, изобретательный, себялюбивый и самолюбивый, он презирал и общину, и общинников, и все общинные дела и интересы. Почти во всех поступках своего добродушного и простоватого брата он видел «одну сплошную глупость». Он мечтал о быстрой и крупной наживе, а нажиться, живя по-старому, не было никакой возможности. Старый порядок крестьянской жизни сулил впереди не наживу, а множество всевозможных тягостей. И вот Петр Сизов замыкается в себя, редко появляется на общественных сходках и думает уже не о том, чтобы, подобно брату, служить миру, а о том, чтобы поживиться на его счет. Он становится кулаком. И мир уважает его, перед ним все снимают шапки, его называют «башкою». Для покупки сказанного участка земли с Иваном Сизовым посылают и Петра.

По дороге в город между братьями произошел следующий многозначительный разговор:

«— Подлинно голова!— сказал Петр, указывая на проезжающего мимо их старшину.

— А что?— откликнулся Иван.

— Разбогател. Теперичи куда, и шапку не ломает! Умен, шельма!

— Старшина, обыкновенно.

— Ничего не старшина. Старшина одна причина, а ум — другая.

— Должно быть, на руку нечист...— заметил наивно Иван, удивляясь, чего его брат нахмурился...

— Допрежь голь мужичонко был,— заметил Петр.— Значит, башка-то не дермом набита, есть же, значит, рассудительность. Слышал, как он пошел в ход? Семеновцы так же, как к примеру мы, задумали прикупить луг. Хорошо. Выбрали. А старшину послали за купчей. А он, не будь прост, денежки да лужочек-то в карман спустил. Туда-сюда, а купчая-то уже

в кармашке. Смеется! Конечно, как над дураками и не смеяться. Так и бросили.

— Бессовестный и есть!— с негодованием воскликнул Иван.

— Не без того. А между прочим, как судить. Судить надо попросту. Оно и выйдет, что ловко вывернулся, уме-ен! Умеет жить.

— Разбойством-то?

— Для чего разбойством? Все по закону. Нынче, брат мой, все закон, бумага.

— А грех?

— Все мы грешны.

Иван помолчал.

— А бог?— потом спросил он.

— Бог милостив, он разберет, что кому. А жить надо.

— Разбойством! Ведь он, стало быть, выходит, вор?

— Ну-у!..— протянул глухо Петр.— Совесть, брат, темное дело,— сказал он после некоторого молчания.

— А мир?— спросил Иван.

— Какой такой мир!— презрительно заметил Петр.

— Да как же, а семеновцы-то!

— Каждый свою пользу наблюдает, хотя бы и в миру. Разве мир тебя произродил?

— Что ж...

— Мир тебя поит, кормит?

— Ты не туда...

— Нет, я туда... Каждый гонит свою линию. Как есть ты человек и больше ничего. А мира нет... Ну, будет по-пустому болтать, слышь?

— Ась!— откликнулся задумавшийся Иван.

— Подбери вожжи!— резко сказал Петр».

Предмет был исчерпан, и разговор более не возобновлялся. Но недаром заводил его Петр. Пример «умного» старшины не выходил у него из головы. Когда, после долгих хождений по бюрократическим мытарствам, нужный березовцам участок был приобретен, то оказалось, что купчая сделана на имя Петра Сизова.

Бедный Иван, конечно, и не подозревал обмана.

Что же сделал мир? Общинники отколотили ни в чем не повинного Ивана, но даже пальцем не тронули Петра.

Петр сказал им, что бумага (т. е. купчая) «не для них писана», и обещал со временем возвратить деньги. Но денег он не возвратил, а березовцы поговорили-поговорили, да и пошли обрабатывать по найму у Петра Тимофеевича Сизова у них

же украденный участок земли. Иван и тут не отстал от мира. Он был в числе других рабочих и с увлечением варил для «опчисва» кашу.

Трудно ярче изобразить бессилие современной общины в борьбе с разлагающими ее влияниями. На одной стороне артельная каша, на другой — ум, хитрость, «закон», «бумага».

VI

Впрочем, торжество кулачества в борьбе с общиной представляет предмет, давно и хорошо знакомый читателям. Г. Каронин не много сказал бы вам нового, если бы ограничился изображением этого элемента внутреннего разложения «устоев». Но в его произведениях оттеняются еще и другие элементы, каких очень мало касались или совсем не затрагивали наши народники-беллетристы. А между тем они заслуживают большого внимания исследователя.

Не все даровитые люди современной деревни становятся кулаками. Чтобы сделаться кулаком, нужно известное стечение обстоятельств, на которое может рассчитывать только небольшое меньшинство. Большинству же приходится приспособляться к переживаемому теперь деревней историческому процессу иначе: оно или покидает деревню, или продолжает там жить, устраиваясь на новых началах, забывая о той тесной органической связи, которая соединяла когда-то членов одной общины.

Индивидуализм, внедряясь в деревню со всех сторон, окрашивает решительно все чувства и мысли крестьянина. Но в высшей степени ошибочно было бы думать, что его торжество характеризуется одними только мрачными чертами. Историческая действительность никогда не отличается подобною односторонностью.

Вторжение индивидуализма в русскую деревню пробуждает к жизни такие стороны крестьянского ума и характера, развитие которых было невозможно при старых порядках и в то же время было необходимо для дальнейшего поступательного движения народа. Само кулачество нередко знаменует собою теперь пробуждение именно этих *прогрессивных* сторон народного характера. Наши слова могут показаться парадоксом, но парадокса в них нет и тени. Народническая беллетристика не раз уже оттеняла то обстоятельство, что современный крестьянин часто ударяется в кулацкую наживу именно потому, что видит в деньгах единственное средство ограждения своего человеческого достоинства.

У Златовратского крестьянин Петр — если не ошибаемся, в «Устоях» — становится кулаком, задавшись целью охранить свой «лик» от беспрестанного оплевания. Подобные же черточки не раз подмечал и Гл. Успенский. И это очень важно и очень характерно для нашего времени. Кулаки существуют в русской деревне издавна, но, наверное, с очень недавних времен в темном кулацком царстве существуют персонажи, думающие о своем «лике».

Но что еще более важно, так это то, что забота о «лике» известна теперь не одним только кулакам. Она начинает одолевать и горькую деревенскую бедноту; она, может быть, еще лучше знакома «кочевым народам». Утрачивая свою непосредственность, оглядываясь на самого себя, крестьянин предъявляет русской общественной жизни новые требования. Перед этими требованиями оказываются несостоятельными современные наши общественные и политические порядки — и в этом заключается их историческое осуждение. Конечно, пробуждаясь от тысячелетнего сна, крестьянская мысль далеко не сразу обнаруживает всю ту силу и всю ту крепость, каких мы вправе ожидать от нее в будущем. Ее первые попытки встать на ноги оказываются часто неудачными, принимают ложное, болезненное направление. Но хорошо уже и то, что подобные попытки существуют; хорошо также то, что наша народническая беллетристика умела подметить их и занести на бумагу. Некоторые рассказы Каронина специально посвящены их изображению. Остановимся пока на рассказе «Деревенские нервы».

Крестьянин Гаврило отличался значительной зажиточностью и, если мерить на старую крестьянскую меру, мог бы, казалось, считаться счастливым.

«Что такое счастье? — спрашивает наш автор. — Или, лучше сказать, что для Гаврилы счастье? Земля, мерин, телка и бычок, три овцы, хлеб с капустой и многие другие вещи; потому что, если бы чего-нибудь из перечисленного не доставало, он был бы несчастлив. В тот год, когда у него околела телка, он несколько ночей стонал, как в бреду... Но такие катастрофы бывали редко; он их избегал, предупреждая или поправляя их. Хлеб? Хлеб у него не переводился. В самые голодные годы у него сохранялся мешок-другой муки, хотя он это обстоятельство скрывал от жадных соседей, чтобы который из них не попросил у него одолжения. Мерин? Мерин верно служил ему пятнадцать лет и никогда не умирал; в последнее время только заметно стал сопеть и недостаточно ловко владел задними ногами, но, ввиду его смерти, у Гаврилы был

двухгодовалый подросток». Словом, так неподражаемо изображенный Гл. Успенским и столь привлекательный для него Иван Ермолаевич на месте Гаврилы, наверное, был бы вполне доволен и собою и всем окружающим. Но сам Успенский сознается, что Иван Ермолаевич уже отживает свой век. Это тип, осужденный историей на исчезновение. Герой рассказа «Деревенские нервы» совсем не обладает деревенской уравновешенностью Ивана Ермолаевича. Он страдает «нервами», чем приводит в величайшее изумление сельского фельдшера, а читателям дает лишний повод обвинить Каронина в тенденциозности. Болезненное состояние «деревенских нервов» Гаврилы дает себя чувствовать тем, что на него вдруг нападает невыносимая, безысходная тоска, под влиянием которой у него из рук валится всякая работа. «Ну ее к ляду!» — отвечает он на замечание жены, что пора ехать на пашню. Жена не может прийти в себя от изумления, да и сам Гаврила страшится собственных слов; но «нервы» ни на минуту не дают успокоиться, и наш герой идет поговорить с батюшкой. «Я бы перед тобой все одно как перед богом, — говорит он священнику. — Мне уж таить нечего, деваться некуда, одно слово — хотя бы руки на себя наложить, так в пору. Значит, приперло же меня здорово». Достойный священнослужитель, привыкший к олимпийскому спокойствию Иванов Ермолаевичей, никак не мог взять в толк, чего нужно его странному собеседнику.

«— Да я не понимаю, какая это хворь? — воскликнул он. — По-моему, дурь одна... Какая это хворь!

— Жизни не рад — вот какая моя хворь! *Не знаю, что к чему, зачем... и к каким правилам...* — упорно настаивал Гаврило.

— Ты ведь землешапец? — строго спросил батюшка.

— Землешапец, верно.

— Что же тебе еще! Добывай хлеб в поте лица твоего, и благо тебе будет, как сказано в писании...

— А зачем мне хлеб? — пылливо спросил Гаврило.

— Как зачем? Ты уж, брат, кажется, замололся... Хлеб потребен человеку.

— Хлеб, точно, ничего... Хлеб — оно хорошее дело. Но для чего он? Вот какая штука-то? Нынче я ем, а завтра опять буду есть его... Ведь сваливаешь в себя хлеб, как в прорыв какую, как в мешок пустой, а для чего? Вот оно и скучно... Так во всяком деле: примешься хорошо, начнешь работать, да вдруг спросишь себя: *зачем, для чего? И скучно...*

— Так ведь тебе, дурак, жить надо! Затем ты и работаешь, — сказал гневно батюшка.

— А зачем же мне надо жить? — спросил Гаврило.

Батюшка плюнул. — Тьфу! ты, дурак этакий!

— Ты уж, отец, не изволь гневаться. Ведь я тебе рассказываю, какие мои предсмертные мысли... Я и сам не рад; уж до той меры дойдет, что тошно, болит душа... Отчего это бывает?

— Будет тебе молоть! — сказал строго батюшка, собираясь прекратить странный разговор.

— Главное — деваться мне некуда! — возразил грустно Гаврило.

— Молись богу, трудись, работай... Это все от лени и пьянства... Больше мне нечего тебе присоветовать. А теперь ступай с богом.

Батюшка при этом решительно встал...»

Случилось ли вам прочесть так называемую «Исповедь» графа Л. Толстого? Не правда ли, Гаврило задавал себе те же самые вопросы: «зачем, для чего, а после что?» — какие мучили знаменитого романиста? Но между тем как богатый и образованный граф имел полную возможность ответить на эти вопросы менее уродливо, чем он ответил, — Гаврило самым положением своим лишен был всяких средств и всяких пособий для правильного их решения. В окружавшей его тьме ниоткуда не было просвета.

Он плакал, чудил, нагрубил священнику, обругал фельдшера, подрался со старшиною и угодил в острог за эту драку. Его спас фельдшер, обративший внимание суда на болезненное душевное состояние подсудимого. Успокоился он уже значительно позже, когда нашел место дворника в соседнем городе. Там *думать* было не о чем.

«Разве можно что-нибудь думать о метле или по поводу нее? У него в жизни метла одна и осталась, — поясняет г. Каронин. — Вследствие этого мыслей у него больше не появлялось. Он делал то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этой же метлой бить по спинам жильцов, он не отказался бы. Жильцы его не любили, как бы понимая, что этот человек совсем не думает. За его позу перед воротами они называли его «идолом». А между тем он виноват был только тем, что оборванные деревней нервы сделали его бесчувственным».

«Проницательный читатель»¹¹ поспешит заметить нам, что осаждавшие Гаврилу вопросы нимало не разрешались метлою и что поэтому совершенно непонятно, отчего место дворника дало этому странному крестьянину желанное успокоение. Но дело в том, что, говоря вообще, Гаврило ставил

себе вопросы, совершенно не разрешимые, не разрешимые ни в городе, ни в деревне, ни сохою, ни метлою, ни в монашеской келье, ни в кабинете ученого.

«Зачем? Для чего? А после что?» Помните гейневского юношу, который спрашивает:

Was bedeutet der Mensch?
Wohin ist er gekommen? Wo geht er hin?*

Нашел ли он ответ?

Es murmeln die Wogen
Ihr ewiges Gemürl.
Es weht der Wind,
Es ziehen die Wolken,
Es blicken die Sterne gleichgültig und kalt
Und ein Narr wartet auf Antwort!**¹²

Да, это неразрешимые вопросы! Мы можем узнать, как происходит дело, но не знаем — зачем происходит оно. И, однако, замечательно, что неразрешимость подобных вопросов мучит людей только при известном складе общественных отношений, только тогда, когда общество, или известный класс, или известный слой общества находится в состоянии болезненного кризиса.

Живой о живом и думает. Физически и нравственно здоровым людям свойственно жить, работать, учиться, бороться, огорчаться и радоваться, любить и ненавидеть, но вовсе не свойственно плакать над неразрешимыми вопросами. Так и поступают обыкновенно люди, пока они здоровы физически и нравственно. А нравственно здоровыми они остаются до тех пор, пока живут в здоровой общественной среде, то есть до тех пор, пока данный общественный порядок не начинает клониться к упадку. Когда наступает такое время, тогда сначала в самых образованных слоях общества являются беспокойные люди, вопрошающие: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?»¹³ Потом, если это болезненное состояние распространяется по всему общественному организму, недовольство собой и всем окружающим сказывается в самых тем-

* Что значит человек?
Откуда пришел он? Куда идет?

(Перев. М. Михайлова). — Ред.

** Волны журчат своим вечным журчаньем,
Веет ветер; бегут облака;
Блещут звезды, безучастно-холодные,
И дурак ожидает ответа.

(Перев. М. Михайлова). — Ред.

ных его слоях; и там, как в интеллигентной среде, находятся «нервные» особи, одолеваемые «предсмертными», как выразился Гаврило, мыслями. Употребляя выражение Сен-Симона, можно сказать, что болезненное стремление разрешить неразрешимое свойственно критическим и чуждо *органическим* эпохам общественного развития. Но дело в том, что и в критические эпохи под этим стремлением задумываться над неразрешимыми вопросами скрывается вполне естественная потребность открыть причину испытываемой людьми неудовлетворенности. Как только она открыта, как только люди, переставшие удовлетворяться своими старыми отношениями, находят новую цель в жизни, ставят перед собою новые нравственные и общественные задачи, от их склонности к неразрешимым метафизическим вопросам не остается и следа.

Из метафизиков они снова превращаются в живых людей, о живом думающих, но думающих уже не по-старому, а по-новому. Можно и иначе вылечиться от той же болезни: уйти из той среды, которая навела вас на «предсмертные» мысли, забыть о ней, найти такое занятие, которое не имело бы ничего общего с вашей старой обстановкой. Очень может быть, что в приютившей вас новой среде окажутся свои «проклятые вопросы», но они будут вам чужды, и пока они найдут доступ к вашему уму и сердцу, вы успеете отдохнуть, успеете наслаждаться известной степенью «бесчувственности». В подобном лечении посредством бегства не много привлекательного, но несомненно, что оно, при случае, может оказаться вполне действительным. Гаврило прибег именно к этому способу и по-своему вылечился. Его вылечила не «метла», а просто перемена обстановки. Покинутая деревня перестала терзать его своими неурядицами, а вместе с этим пропали и «предсмертные» мысли.

VII

Болезненное нравственное настроение, овладевающее крестьянином под влиянием современной деревенской обстановки, составляет также главную мысль другого рассказа г. Каронина — «Больной житель».

Герой этого рассказа, крестьянин Егор Федорович Горелов, подобно Гавриле, махнул рукой на свое хозяйство и почувствовал отвращение к деревенским порядкам, задумавшись все над теми же вопросами: «что к чему, зачем и к каким правилам?» Однако он пришел уже к довольно определенному и довольно конкретному ответу на этот счет. Из-под «власти

земли» он выбился так же бесповоротно, как и Гаврило. Но он не одеревенел, не превратился в «идола». У него есть известная цель, к которой он и стремится по мере сил и возможности. «Разное бывает хозяйство,— отвечает Егор Федоров на вопрос, почему он предпочитает жить в батраках, а не в собственном доме.— *Главное, чтоб в уме был порядок.* Который человек полоумный и никакого хозяйства в душе у него не водится, тому все одно...» Странно звучат такие слова в устах русского крестьянина, и не удивительно, что, по замечанию автора, после разговора с Егором Федоровичем на многих из его односельчан «нападала тоска». Собеседник, выслушавший вышеприведенный ответ насчет хозяйства, не верил своим ушам. «Измумление его было столь велико, как если бы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, растут вместе с онучами у него на голове». Он мог только произнести: «вот оно как!» и с этих пор уже не расспрашивал Горелова, чувствуя к нему непреодолимый страх. Этот собеседник, очевидно, не утратил еще старой крестьянской непосредственности и жил, не мудрствуя лукаво. Это был своего рода Иван Ермолаевич, не упускавший, впрочем, случая зашибить копейку мелкой торговлишкой. Он не мог понять Горелова, который в свою очередь перестал понимать его и ему подобных. Установивши известный «порядок» в своем собственном уме, Егор Федорович стал сильно задумываться об участии своих односельчан. Слышал он, «будто в губерниях насчет деревень наших хлопочут». Ему очень занято было послушать, «что такое и в каком значении?»— и вот он решился идти на собеседование к учителю Синицыну. К несчастью, из их разговора вышло не больше, чем из разговора Гаврилы со священником.

«— Насчет чего хлопочут в губерне,— приставал к учителю Горелов.— В каком значении житель-то наш? Слышал я, что в мешане приписывают... или останется он на прежнем положении?»

— Хлопочут, чтобы как лучше ему было,— возразил учитель.— Ты вот не умеешь читать, а я читал газету. Прямо написано: дать мужику в некотором роде отдых!

— Облегчение?

— Облегчение. По крайности, чтобы насчет пищи было благоприятно.

— А насчет прочего?— с тоской спросил Горелов.

— Ну, в отношении прочего я тебе ничего пока не могу сказать. Пока не вычитал. А как вычитаю — приходи, расскажу досконально!

— А я так думаю, не миновать ему казни!— сказал Горелов.

— Кому казни?— удивленно спросил учитель.

— Да жителю-то.

— Что ты говоришь?

— Да так... не минет он казни. Помяни ты мое слово — будет ему казнь! Ужели же пользу ему возможно сделать, ежели он ополоумел? Говоришь — хлопочут, да, господи боже мой, зачем? Стало быть, пришел же ему конец, как скоро он все одно, что оглашенный. Нету ему больше ходу, и никто не волен облегчить его. Не знаю... не знаю, как нашим ребятам... им бы помочь, а нашему брату, деревенскому жителю, ничего уж нам не надо! Одна единая дорога нашему брату, старому жителю,— к бочке грешной...

— В кабак?

— Пря-амехонько в кабак! По той причине, что никто не волен дать нам другой радости, кроме этой!

— А ты пьешь? Я чтой-то не слыхал.

Горелов покачал головою.

Вскоре после этого разговора он окончательно покинул родные места.

Но неужели так трудно ужиться в современной деревне крестьянину с некоторым «порядком» в мыслях?— спросит, может быть, читатель. Вместо ответа мы укажем ему еще на два рассказа г. Каронина: «Вольный человек» и «Ученый».

В знакомом уже нам Парашкине, по-видимому еще задолго до массового бегства его обывателей, жили-были два крестьянина: Илья Малый и Егор Панкратов.

Они ни в чем не походили один на другого. «Илья Малый был простодушен; Егор Панкратов сосредоточен. Илья Малый молчал только тогда, когда говорить было нечего; Егор Панкратов говорил только тогда, когда молчать не было никакой возможности... Один постоянно отчаивался, другой показывал вид, что ему ничего», и т. д. Но главное различие их характеров заключалось в том, что «Илья Малый жил так, как придется и как ему позволят; Егор Панкратов старался *жить по правилам*, не дожидаясь позволения».

«Один жил и не думал, другой думал и этим пока жил».

Несмотря на все несходство их характеров, между Ильей Малым и Егором Панкратовым существовала тесная дружба. Она завязалась с тех пор, как Егор отбил у старосты корову Ильи, предназначенную к продаже за недоимку. Такой поступок Егора, мотивированный, впрочем, тем соображением, что «в законе про корову нигде не сказано», возбудил полнейшее

удивление робкого и незащитного Ильи. Егор казался ему героем, и он безусловно подчинялся ему всегда и всюду, кроме тех случаев, когда его друг вступал в столкновение с баринном или с сельским начальством.

В этих случаях Илья немедленно обращался в постыдное бегство, а Егор стоял на своем, и случалось — выходил победителем, потому что всегда старался держаться законной почвы.

Стремление жить по закону и «по правилам» сделалось манерой Егора. «Все повинности он отправлял исправно, подати платил в срок и с презрением глядел на голытьбу, которая доводит себя до самозабвения. Порка для него казалась даже странной, он говорил: *чай, я не дитё малое*».

Со всем тем он смутно чувствовал, что твердой законной почвы у него под ногами не имеется.

Его права, как «вольного человека» и самостоятельного хозяина, были ему очень неясны. И хотя он безусловно предпочитал новые деревенские порядки старым, крепостническим, однако и новые порядки далеко не могли удовлетворить его стремлениям к самостоятельной жизни *по правилам*. «Душа, братец мой, вольна нынче, а тело нет, так-то!» — возразил он однажды своему приятелю, утверждавшему, что нынче «ничего, жить можно».

Егор Панкратов никогда не мог отделаться от этого тяжелого, хотя и смутного сознания своей неволи. Его никогда не покидала мысль о поругании, угрожающем крестьянину при неисправном отправлении им своих «обязанностей по отношению к государству». Он стал скуп и жаден, копя и собирая деньги единственно для своевременной уплаты податей. Но прошло время, когда все его усилия оказались бесполезными.

Вместе с Ильей Егору не раз случалось наниматься на работу у соседнего помещика, который, подобно многим представителям доблестного российского дворянства, не имел привычки торопиться с уплатой своих долгов, в особенности долгов работникам. У Егора и прежде уже происходили по этому поводу довольно сильные столкновения с беззаботным баринном, но в тот раз, о котором идет речь, дело принимало особенно неприятный оборот. С него и с его друга требовали податей, а помещик отказывался расплатиться с ними, отговариваясь недосугом.

И в самом деле, у него были гости, и он уже несколько дней кутил с ними без перерыву. В числе гостей был и становой.

Егор находился в крайности. «Предчувствие о ней давно уже тяготело над ним, но смутно; он не очень беспокоился. А теперь эта крайность встала перед глазами. Мысль же о порке приводила его в необузданное состояние, и понятно, что он выглядел очень мрачно, когда предстал перед баринном».

«— Да что же это такое? — сказал он с волнением, стоя в прихожей перед баринном, также взбесившимся.

По обыкновению, Егор Панкратов был впереди, а Илья Малый прятался за ним.

— Сколько раз вас гоняли и говорили вам, что некогда? — бешено говорил барин, чувствуя, что голова его сейчас треснет.

— Нам, ваша милость, дожидаться нельзя. Описание! Мы за своим пришли... кровным! — ответил с возраставшим волнением Егор Панкратов.

— Ступайте прочь! Душу готовы вынуть за трешницу.

— Нам, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вам — убирайтесь! Рыться я стану в книгах! — кричал совсем вышедший из себя барин.

А Егор Панкратов стоял перед ним бледный и мрачно глядел в землю.

— Эх, ваша милость! стыдно обижать вам нас в этом разе... — сказал он.

— Да ты уйдешь? Эй, Яков! Гони!

На шум вышли почти все гости... и становой. Последний, узнав, в чем дело, приказал Егору Панкратову удалиться. Но Егор Панкратов не удалился; он с отчаянием глядел то на того, то на другого из гостей и, наконец, сказал упавшим голосом:

— Ты, ваше благородие, не путайся в это место».

Скверно кончилась эта история для нашего сторонника законности. Его чуть было не высекли, и только по совету старшины, боявшегося «взбалмошного» нрава «Егорки», заменили это позорное наказание заключением в «темную» на хлеб и на воду!

Деревенский староста боялся было, что он упрется, и униженно просил его «покориться». И Панкратов покорился. Молча и мрачно пошел он в «канцер», молча и мрачно вышел оттуда, придя домой, забился на полати, напился квасу и... заболел горячкой. Все соседи и даже все деревенские начальники отнеслись к нему с полнейшим сочувствием и не понимали только одного, что, собственно, так огорчило странного мужика. «Прохворал он почти всю зиму; покопошится на дворе, поработает и опять сляжет. Илья Малый старался

во всем ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже расстроено, да и сам он был не тот. Однажды, в начале весны, он вышел на завалинку погреться на солнышке, и все, кто проходил мимо него, не узнавали в нем Егора Панкратова. Бледное лицо, тусклые глаза, вялые движения и странная, болезненная улыбка — вот чем стал Егор Панкратов. К нему подсел Илья Малый и, рассказав свои планы на наступающее лето, неосторожно коснулся происшествия, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда он огорчился из-за пустяков. Егор Панкратов сконфузился и долго не отвечал, улыбаясь нехотливо... Потом сознался, что его тогда «нечистый попутал». Он стыдился за свое прошлое. Таким Егор Панкратов остался навсегда. Он сделался ко всему равнодушен. Ему было, по-видимому, все равно, как ни жить, и если он жил, то потому, что другие живут, например Илья Малый...»

Разумеется, Егор Панкратов и Илья Малый остались по-прежнему друзьями-приятелями; они «соопча» работали, «соопча» терпели невзгоды, их и секли за один раз.

Так наказала современная деревня «вольного человека» за его стремление к жизни «по правилам».

VIII

В рассказе «Ученый» перед нами подобное же явление: проснувшееся в крестьянине сознание своего человеческого достоинства не выдерживает столкновения с окружающей его тяжелой действительностью; загоревшийся огонек мысли гаснет под влиянием тяжелого нравственного оскорбления.

На этот раз мы имеем дело с «жителем», избравшим самый верный путь для приведения своего ума в «порядок». Дядя Иван, тоже парашкинский «житель», отличается необыкновенной жадностью знания, страстной любовью к книге. Несмотря на свой зрелый возраст, он ходит в школу, где стоически переносит насмешки шаловливых ребят, с детской беспощадностью издевающихся над всеми промахами и ошибками своего взрослого товарища. Но школьный учитель был плох, а вскоре благодаря земству школа и совсем закрылась. Так и остался Иван полуграмотным, умея только с грехом пополам читать по-печатному и смотря на искусство писать, как на высшую, недостижимую для него мудрость. Тем не менее страсть «почитаться» осталась у него в полной силе. Для него не было большего наслаждения, как купить в городе книжку и засесть за нее в свободное от хозяйственных занятий время. Беда была лишь в том, что он далеко не все понимал в поку-

паемых книжках. Иногда попадалось в них такое словечко, которого он, при всех усилиях, не мог понять без посторонней помощи. Тогда Иван шел к писарю Семенычу и за приличное вознаграждение, в виде шкалика водки, добивался разъяснения мудреного «словечка». Правда, толкования писаря далеко не всегда соответствовали истинному смыслу мудреного слова, но без его помощи Иван обойтись все-таки не мог. Семеныч был самым ученым человеком в деревне. Со временем Иван стал обращаться к нему не только по поводу «словечек», но и вообще во всех тех случаях, когда в его голове шевелились вопросы, неразрешенные «странною» философией предков. А такие вопросы все чаще и чаще возникали в голове темного читателя.

«Откуда вода? Или опять тоже земля?.. Почему? Куда бегут тучки?» Мало того, явился даже вопрос о том — «откуда мужик?» Собеседование Ивана с Семенычем по поводу этого вопроса прекрасно изображено автором.

«— Например, мужик... — Дядя Иван остановился и сосредоточенно смотрел на Семеныча.

— Мужик у нас счету нет, — возразил последний.

— Погоди, Семеныч... ты не сердись... Ну, например, я мужик, темнота, одно слово — невежество... А почему?

В глазах дяди Ивана появилось мучительное выражение. У Семеныча даже косушка вылетела из головы; он даже плюнул.

— Ну, мужик — мужик и есть! Ах ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому мужик, необразованность... Тьфу, дурья голова! — с удивлением плюнул Семеныч, начиная хохотать.

— Стало быть, в других царствах тоже мужик?

— В других царствах-то?

— Ну.

— Там мужика не дозволяется... там этой самой нечистоты нет! Там его духу не положено! Там, брат, чистота, наука.

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни.

— Наука?

— Там-то? Да там, надо прямо говорить, ежели ты суешься с образиной своей, там на тебя с-с-со-обак напустят! Потому ты зверь зверем!»

Как ни глупо было вранье Семеныча, но в данном случае и его, вероятно, было достаточно, чтобы подлить масла в огонь, толкнув на новую работу беспокойную мысль Ивана.

Узнав, что в других государствах и духу мужицкого «не положено» и что это происходит от того, что «там наука», Иван естественно должен был пойти далее и спросить себя: нельзя ли и русскому трудящемуся населению добиться подобной же степени образования? А отсюда уже недалеко было и до очень радикальных выводов.

Пишущему эти строки пришлось в семидесятых годах в Берлине встретиться с артелью русских крестьян Нижегородской губернии, работавших на одной из сукновальных фабрик прусской столицы. Мы помним, какое впечатление произвело на них знакомство с заграничными порядками и с материальным положением немецких рабочих. «Нет страны хуже России!» — восклицали они с каким-то грустным ожесточением и охотно соглашались с нами, когда мы говорили, что пора бы русскому крестьянству подняться на своих угнетателей.

Может быть, к такому же заключению пришел бы и Иван, но ему помешало в этом одно неожиданное происшествие. С некоторых пор голова его стала работать, по выражению автора, больше, чем руки. В его несложном хозяйстве явились упущения, за ним оказались недоимки. Староста уже несколько раз напоминал ему об этом, но Иван продолжал возиться с вопросами. Печальная развязка сделалась неизбежной. В один из приездов исправника Ивана позвали в волость и там розгами напомнили ему об его гражданских обязанностях. Эта отеческая расправа поразила его как громом. Возвращаясь домой, «он озирался по сторонам, боясь кого-нибудь встретить, — он так бы и оцепенел от стыда, если бы встретил; да, от стыда! Потому что все, что дали ему чудесные мысли, — это стыд, едкий, смертельный стыд».

Под влиянием первого впечатления Иван хотел было утопиться. Он даже прибежал на берег реки и уже готовился было броситься в воду, но... его настиг староста, которому дозарезу нужны были люди для починки моста, совершенно некстати обвалившегося перед приездом исправника. «Где у тебя совесть, дьявол ты этакий, какого лешего ты тут проклажаешься!» — закричал блюститель деревенского порядка. И от этого окрика в Иване, по-видимому, действительно проснулась «совесть», старая, завещанная прародителями совесть двуногого вьючного животного, осужденного на вечную каторгу. Он безропотно пошел на работу.

Но с тех пор у него пропала новая, приобретенная, из книжек почерпнутая совесть.

«Дядя Иван о книжках и чудесных мыслях больше не вспоминал. Он думал только о недоимках... Книжек в пятак

он не носил больше за голенищем, он зарыл их в яму, выкопанную нарочно на огороде... Если же на него нападала тоска, то он шел к Семенычу и отправлялся вместе с ним в кабак. Через полчаса, много через час, оба закадычные выходили оттуда уже готовыми...»

Впоследствии дядя Иван принимал участие в известном уже нам бегстве парашкинцев целым «опчисвом».

IX

В статье о Гл. Успенском мы противопоставили изображенному им крестьянину Ивану Ермолаевичу рабочего Михайла Лунина, героя повести г. Каронина «Снизу вверх». По этому поводу нас вместе с г. Карониным немало обвиняли в преувеличении. Мы соглашаемся, что сделанное нами противопоставление было слишком резко. Михайло Лунин есть действительно настоящий антипод Ивана Ермолаевича. Один не понимает существования вне земледельческого труда, и мысль его работает лишь там, где соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и тому подобное. Другой не имеет ни сохи, ни бороны, ни овец, ни кур, ни уток, ни коров и ничего подобного, и он не только мало сожалеет об этом, но ему трудно даже понять, как могут люди выносить тяжелую долю русского земледельца.

Иван Ермолаевич плохо соображает, зачем, собственно, ему нужно учить грамоте своего сына Мишутку. Михайло Лунин сам учится «не то что с энтузиазмом, а с каким-то остервенением». Взгляды Ивана Ермолаевича поражают своей «стройностью».

Михайло Лунин, как и всякий человек, переживший период разлада с окружающей его действительностью, должен был пройти через всевозможные сомнения и недоумения, а следовательно, и через связанную с ним путаницу понятий. Иван Ермолаевич лишь зевает «сокрушительнейшим образом», когда «новый человек» пытается ему привить «новые взгляды на вещи». В ответ на все доводы такого человека он «может сказать только одно: без этого нельзя».

Но это «только» имеет за себя вековечность и незыблемость самой природы... В голове Ивана Ермолаевича нет места для каких бы то ни было *вопросов*. Михайло Лунин буквально осажден «вопросами» и способен замучить ими самого неутомимого «интеллигента». Иван Ермолаевич склонен схватить «колебателя основ» и, связав его, как вора, представить кому следует. Михайло Лунин сам не сегодня-завтра примется колебать «основы». Взоры Ивана Ермолаевича устремлены

в прошлое. Он живет или хотел бы жить так, как жили его «прародители», за исключением, конечно, крепостного права. Михайло Лунин с содроганием и ужасом слушает рассказы о жизни «прародителей» и старается создать себе возможность иной, новой жизни, обеспечить себе иное, лучшее *будущее*. Словом, один представляет собою старую, крестьянскую, допетровскую Русь, другой — новую, нарождающуюся, рабочую Россию, ту Россию, в которой реформа Петра получает, наконец, свое крайнее логическое выражение. С тех самых пор, как стала нарождаться эта новая, рабочая Россия, — в нашей общественной жизни утратили всякое значение царь-реформаторы и, наоборот, приобрели великое историческое значение и твердую, реальную почву деятели совсем другого рода, направления и положения, а именно *революционеры*-пропагандисты, агитаторы и организаторы. Прежде наш прогресс приходил (если приходил, что делал он очень редко) к нам *сверху* и мог приходиться только *сверху*. Теперь он будет приходиться *снизу*, и не может приходиться иначе, как только *снизу*. И теперь он пойдет уже не с прежней черепашной медленностью.

Повторяем, противопоставление Лунина Ивану Ермолаевичу было чрезвычайно резко. Но мы не могли избежать его, не желая оставить нашу мысль недосказанной. Разобранные нами теперь очерки и рассказы г. Каронина дают нам новый материал для ее пояснения, и если читатель подумает над вышеуказанными характеристиками и сценами, то он, может быть, и сам увидит, что Михайло Лунин представляет собой явление вполне естественное и даже неизбежное в современной нашей общественной жизни.

Все зависит от окружающей обстановки. Иван Ермолаевич находится под властью земли. Земле и только *земле*, земледельческому труду и только *земледельческому труду* он обязан своим «стройным» мирозерцанием.

Но вот на него надвигается «цивилизация» и, как карточные домики, разрушает все его веками установившиеся привычки. «Стройность сельскохозяйственных земледельческих идеалов беспощадно разрушается так называемой цивилизацией», — говорит Гл. Успенский. — Ее влияние отражается на простодушном поселянине решительно при самом ничтожном прокосновении. Буквально прикосновение, одно только легкое касание — и тысячелетние идеальные постройки превращаются в щепки». Мы видели, что не одна только «цивилизация», но и само государство — правда, под влиянием той же цивилизации — сильно способствует разложению «сплошного» быта

Иванов Ермолаевичей. Сообразно тысячам различных случайностей разложение принимает различный вид, создает совершенно различные типы и характеры. Одни из них во многом, почти во всем, похожи на Ивана Ермолаевича, но у них проявляются уже новые черты, Ивану Ермолаевичу не свойственные. У других черты сходства уравниваются чертами различия. У третьих сходства с Иваном Ермолаевичем уже совсем мало.

Наконец появляются и такие характеры, которые, выработавшись под влиянием совершенно новой среды, оказываются совершенно на него не похожими, даже противоположными ему. В лице Демы мы встретились с крестьянином, бывшим некогда настоящим Иваном Ермолаевичем. Только нужда могла оторвать его от земли, но, оторвавшись от нее, попавши в новую обстановку, он мало-помалу начинает питать к деревне «недоброе чувство». В нем пробуждаются новые нравственные потребности, каких он не знал в деревне и какие не могут найти там удовлетворения. То же можно сказать и о фантазере Минае. Он представляет собою не более как разновидность Ивана Ермолаевича. Он держится за землю обеими руками, и весь полет его пламенной фантазии ограничивается сначала только областью земледельческого труда. Но кулак Епишка своим примером вносит разлад в его мирозерцание: Минай мечтает на тему о том, как бы разделаться с общиной и зажить, подобно Епишке, одиноким и ничем не связанным. Читатель помнит, что мысль о выходе из общины приходила и самому Ивану Ермолаевичу. Только у него она не окрашивалась завистью к кулацкому благосостоянию, как это было у Минае. Покинув деревню, впечатлительный Минай, наверное, еще более поддастся влиянию «цивилизации», и хотя он не имел возможности разжиться, но, конечно, мирозерцание его еще более потеряло в своей «стройности».

Плутоватый и деятельный Петр Сизов любит свою землю, может быть, не меньше Ивана Ермолаевича, но любит уже на другой лад: так, как любят ее кулаки и вообще люди наживы. Для него земля дорога уже не сама по себе, а потому, что имеет известную *меновую* стоимость. «Власть земли» отходит здесь на задний план, уступая место *власти капитала*.

Но и Иван Ермолаевич, и Дема, и Петр Сизов, и даже фантазер Минай, при всем сходстве или несходстве друг с другом, имеют ту общую черту, что в их отношениях к окружающему, — как бы ни было оно для нас привлекательно или непривлекательно, — нет ничего болезненного.

В расстроенных «деревенских нервах» Гаврилы и в «большом жителе» Горелове мы видим иную черту. Разложение старого «сплошного» быта отразилось на них болезненно. Пробудившаяся мысль, не довольствуясь старым «сплошным» мирозерцанием, поставила себе вопрос: «зачем, для чего?» — и не нашла удовлетворительного ответа, запутавшись в потемках и противоречиях. Но она не могла и помириться со своим бессилием, мстя за него отрицательным отношением ко всему окружающему. И Гаврило, и Егор Федорыч Горелов бегут из деревни, измучившей и расстроившей их до крайности. Деревенская среда не может внести искомого «порядка» в их головы.

«Вольный человек» Егор Панкратов ищет не столько «порядка» в мыслях, сколько возможности жить по «закону», не подчиняясь произволу людей, выше него поставленных. Независимостью своей нравственной личности он дорожит больше всего на свете. Это его конек, господствующее стремление в его жизни. Под влиянием этого стремления, которому так часто противоречит практика деревенской жизни, он делается угрюмым, несообщительным и даже жадным. В этой оригинальной личности, сосредоточившей все свои силы на ограждении своего человеческого достоинства, также нельзя не видеть знамения нового времени.

Представитель «сплошного» быта и «сплошного» мирозерцания, Иван Ермолаевич не имел никаких *исключительных стремлений*; в его сплошной, уравновешенной душе для них не было и места. Только с разрушением этого стихийно выросшего сплошного равновесия является возможность развития личности с ее особенными вкусами, наклонностями и стремлениями.

«Ученый» дядя Иван еще дальше ушел от Ивана Ермолаевича. Его, подобно Гавриле и Горелову, осаждают различные вопросы, о существовании которых Иван Ермолаевич не имел и понятия. Но его вопросы принимают гораздо более определенное и совершенно реальное направление. Он идет к их разрешению по верному пути, он стучится в дверь школы, вооружается книгой. «Откуда мужик? Почему мужик?» Раз начали появляться такие вопросы в крестьянской голове, можно с полной уверенностью сказать, что старому, сплошному крестьянскому быту пришел конец. Правда, дядя Иван не выдерживает характера, у него опускаются руки, как опустились они и у Егора Панкратова. Но то только показывает лишний раз, что современная деревня представляет собой среду, крайне неблагоприятную для развития крестьянской мысли. Михайло Лунин рано покинул деревню и уцелел. Между ним и дядей Иваном различие в судьбе, а не в характере. Попади дядя

Иван на место Лунина, он, по всей вероятности, пришел бы к тому же, к чему пришел Лунин. Дядя Иван относится к Михайле как человек, поставивший себе известную цель, относится к человеку, достигшему этой цели. Вот и все. Дядя Иван является антиподом Ивана Ермолаевича в *стремлении*, Михайло Лунин — антиподом его в *действительности*. Нам заметят, вероятно, что не много рабочих попадает в такие благоприятные для умственного развития условия, в какие попал Лунин. Это верно. Но не в том дело. Важно то, что современная русская жизнь благодаря распаденю сплошного быта создает, и чем далее, тем в большем числе, будет создавать, таких личностей, как Егор Панкратов, дядя Иван и Михайло Лунин. Важно то, что как ни плохо положение русского рабочего, но все-таки городская жизнь гораздо более деревенской благоприятна для дальнейшего умственного и нравственного развития подобных личностей.

Хотите, чтобы она была еще благоприятнее? Это в значительной степени зависит от вас самих... Идите в рабочую среду и помогите ей разобраться в *вопросах*, поставленных перед нею самой жизнью. В этой среде растет та новая историческая сила, которая освободит со временем *все* трудящееся население страны.

Плохи люди, сидящие сложа руки и возлагающие все свое упование на естественный ход событий. Это трутни истории. От них никому ни жарко, ни холодно. Но немногим лучше их и те, которые упорно смотрят назад, не переставая говорить о поступательном движении народа. Эти люди осуждены на неудачи и разочарования, потому что они добровольно поворачиваются спиной к истории. Полезным деятелем может быть только тот, кто, не боясь борьбы, умеет направлять свои усилия сообразно с ходом общественного развития. Русский народ не со вчерашнего дня переживает процесс разложения старых деревенских порядков. Он успел уже весьма значительно измениться. А наша демократическая интеллигенция все еще продолжает искать опоры в старых народных «идеалах». Если она когда-нибудь поймет свою ошибку, то скажет, может быть, как говорили губернскому гласному парашкинцы: «С которых уже это пор идет, а мы все перемогались, все думали, авось бог даст... Вот она, слепота-то наша, какая!»

И подлинно слепота! Рваться вперед — и в то же время защищать отжившую свой век старину! Желать добра народу — и в то же время отстаивать учреждения, способные только увековечить его рабство! Считать мертвое живым, а живое мертвым! — кто, кроме слепых, не заметит бездонной

пропасти подобных противоречий? Имеющий очи и пользующийся ими не боится ни исторического развития вообще, ни торжества капитализма в частности. Он видит в капитализме не одно только зло; он замечает также его «разрушительную революционную сторону, которая низвергнет старое общество». Вот почему, наблюдая современное разложение всех допотопных «устоев» русской социальной и политической жизни, имеющий очи человек с облегченным сердцем воскликнет: *прощай, старая Обломовка, ты сделала свое дело!*

¹ Первым литературным произведением С. Каронина явился рассказ «Безгласный», опубликованный в 1879 г. в журнале «Отечественные записки» (№ 12).

² Произведения С. Каронина, которые ниже цитирует или упоминает Плеханов, в большинстве своем вошли в изд.: Каронин С. (Н. Е. Петропавловский). Соч.: В 2 т. М., 1958.

³ Плеханов имеет в виду главным образом отклики на цикл очерков Г. И. Успенского «Из деревенского дневника» (1877—1880), публиковавшийся в журнале «Отечественные записки». Отрицательная оценка очерков получила наиболее яркое выражение на страницах еженедельной либерально-народнической газеты «Неделя» (СПб., 1866—1901), обвинившей писателя в «полном незнании крестьянской души». Подробный обзор отзывов см.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 425—468.

⁴ «Власть земли» — заглавие серии очерков Г. И. Успенского, опубликованных вначале в «Отечественных записках» (1882), а затем вышедших отдельным изданием (М., 1883).— См.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. Т. 8.

⁵ Образцом таких нападок может служить упоминавшаяся выше Плехановым анонимная рецензия в журнале «Русская мысль» (1886. Кн. 8. С. 119—124). О повести С. Каронина «Снизу вверх» см. примеч. 32 на с. 469.

⁶ Слова из пролога к трилогии Шиллера «Валленштейн». В стихотворном переводе строка звучит так: «...Жизнь сумрачна — искусство лучезарно» (Перев. Н. А. Славятинского).— См.: Шиллер Ф. Валленштейн: Драматическая поэма. М., 1980. С. 11.

⁷ Имеются в виду слова Мефистофеля в «Фаусте»: «Безумством мудрость станет, злом — благое» (Перев. Н. А. Холодковского).— См.: Гете И. В. Собр. соч.: В 13 т. Юб. изд. М., 1947. Т. 5. С. 120. Ср.: Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2. С. 70.

⁸ Герцен А. И. Дневник. 1842—1845. // Собр. соч. и писем. Т. 2. С. 334.

⁹ Плеханов цитирует очерк Г. Успенского «Ноль — целых!» из цикла «Живые цифры» (1888).— См.: Успенский Г. И. Полн. собр. соч. Т. 10, кн. 2. С. 199—200.

¹⁰ Слова К. Маркса из предисловия к первому изданию «Капитала».— См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 10.

¹¹ «Проницательный читатель» — иронический эпитет, неоднократно встречающийся в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», символ лицемерного и тупоумного читателя-ретрограда.

¹² Стихотворение Г. Гейне «Вопросы» из «Книги песен».— См.: Гейне Г. Собр. соч. Т. 1. С. 175.

¹³ Начальные строки стихотворения А. С. Пушкина (без названия).— См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 59.